

Лидия  
ЧАРСКАЯ

*Повести  
и рассказы*



# Лидия Алексеевна Чарская

## Большой Джон

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=635455](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=635455)

*Лидия Чарская. Собрание сочинений:*

### Аннотация

Большого Джона усадили, принесли еще скамью и разместились на ней зелено-белым роем. И мысли, и глаза, и уши были напряженно заняты теперь одним только Большим Джоном, голова которого препотешно выглядывала из-за белой стены белых пелеринок и зеленых платьев. Большой Джон, нимало не подозревая о совершившемся по его милости переполохе, по просьбе своих новых сорока друзей уже рассказывал им различные случаи из своего недавнего путешествия по свету. В пылу рассказа молодой человек и не замечал, что число его слушательниц увеличивалось с каждой минутой. Маленькие карабкались на скамейки и, чтобы лучше видеть, подсаживали друг друга...

# Содержание

ГЛАВА 1	4
ГЛАВА 2	25
ГЛАВА 3	56
ГЛАВА 4	82
ГЛАВА 5	110
ГЛАВА 6	161
ГЛАВА 7	177

# Лидия Алексеевна Чарская

## Большой Джон

### ГЛАВА 1

#### Рассказ Лотоса. – На молитве. – Паника. Человек в плаще

«...За окном сада зловеще зашелестели черные крылья. Что-то ярко блеснуло в темноте. К аромату роз и лотосов, раскрывших свои пахучие чашечки, присоединился теперь чуть заметный, но страшный запах тления. Луна пугливо скрылась за облаками. Окно широко раскрылось, и Черный Принц, подобный огромной птице, влетел в комнату. Он направился прямо к колыбели ребенка... Цепкими руками вампир отдернул нарядный полог люльки, наклонился над вскрикнувшим от ужаса младенцем, кровожадно приник к сердцу мальчика и стал пить каплю за каплей его кровь...»

– Ужасно!.. – прервала рассказчицу маленькая, толстенная Даурская и нервно одернула белую пелеринку на груди.

– Молчи, Додошка!.. Мешаешь слушать... Рассказывай, что было дальше, Елочка... Ах, душка, что за прелесть!.. Откуда ты вычитала все это?..

Смуглая, полная и рослая девушка лет семнадцати, с вью-

щимися черными, как у негритянки, волосами, Зина Бухарина, смотрела на рассказчицу вопрошающе.

– Чудно, дивно, божественно!.. Да тут с ума сойти можно от всей этой таинственности!.. – загалдели сидевшие за столом институтки и плотнее придвинулись к рассказчице, забыв о кружках чая, стывших перед ними.

Высокая, бледная Елецкая, с прозрачно-зелеными глазами, похожими на загадочные глаза русалки, и с пышными черными волосами, венчающими головку, раскрыла было рот, чтобы продолжать свое повествование, как неожиданно Даурская сказала:

– Поистине ужасно, mesdam'очки!.. Ведь Черный Принц ест таким образом уже восьмисотого ребенка!.. – и, широко раскрытыми от ужаса глазами, она обернулась к своей соседке по столу и произнесла сладко:

– Послушай, Рант. Я вижу, ты не ешь твою булку... дай мне, пожалуйста.

– Даурская, противная!..

– Не мешай слушать!..

– Весь мир готова из-за булки забыть!..

– Несносная Додошка!.. – возмутились ее подруги.

– Оставьте ее, mesdames! Додошка хочет отъестся к ночи... Она очень худа, бедняжка, и Черному Принцу, – а он наверное прилетит к ней сегодня, чтобы съесть ее, как тех злосчастных восьмьсот младенцев, – достанутся одни только кости... Дай же ей твою булку, Рант. Ведь и гусей тоже

откармливают перед тем, как подавать их к столу...

Тоненькая, со смелым лицом веселого мальчугана, с короткими кудрями, девочка, казавшаяся много моложе своих семнадцати лет, обратила задорные серые глаза к Додошке.

– Да вы с ума сошли, Воронская!.. Mesdam'очки, скажите ей, что она сошла с ума!.. Как она смеет называть меня гусем и пугать Черным Принцем! – с визгом подскочила Додошка.

– Даурская... Taisez vous.<sup>1</sup> Вы не умеете себя вести, как подобает приличной барышне, – услышали в тот же миг девочки недовольный голос, и m-lle Эллис, классная дама, в синем форменном платье, неожиданно предстала перед своими питомицами.

Она скользнула недовольным взглядом по лицу покрасневшей Додошки и тотчас же захлопала в ладоши, повышая голос:

– На молитву, mesdames!.. На молитву!..

Зашумели отодвинутые скамейки, зашелестели зеленые камлотовые платья, и двести семьдесят пять девочек-институток, маленьких и больших, чинно выстроились на молитву.

На середину столовой, в которой были собраны к чаю все девять классов, включая и два старших педагогических отделения «курсисток», как их называли в институте, – вышли две девочки из группы выпускных, с Евангелием и молитвословом в руках. Одна из них – маленькая, плотная, с

---

<sup>1</sup> Молчите.

вызывающим, почти дерзким лицом, белокурая, розовая, с необычайно добрыми, честными, голубыми глазами; другая – несколько повыше ростом, стройная, с восточным типом лица, с глубоким и печальным взором, с лицом тонким, бледным и прекрасным, напоминающим южный цветок. Первую, Симу Эльскую, за вечные шалости и мальчишеские выходки прозвали «Волькой», от слова «воля» – свобода, которую усердно рекомендовала всем эта необузданно-смелая и шаловливая девочка, приводившая в неопишное волнение своих классных дам. Другую, с газельим взором, по прозвищу «Черкешенка», звали Еленой Гордской. Она родилась и выросла в Тифлисе и бредила высокими горами и тихими долинами прекрасного Кавказа, хотя не имела ничего общего ни с татарами Дагестана, ни с жителями тихой и печальной Грузии...

Обе девочки медленно вышли на середину огромной столовой, остановились под газовыми рожками, спускавшимися на длинных шестах сверху и освещавшими комнату, и поочередно стали читать молитвы и главу из Евангелия. Институтки притихли. Зеленоглазая Елецкая, или «Елочка», только что рассказывавшая за столом про Черного Принца, молилась тоже, или, вернее, не молилась, а думала о том, как красиво и просто звучали слова Евангелия, как прекрасна была вера Елисаветы, к которой пришла Мать Господа, как хорошо и чисто, должно быть, пахли иерусалимские розы и как дивен был мир в те далекие времена...

Неожиданно сладкие мечты Елецкой, «Лотоса», как ее прозвали подруги за необычайную нежность и почти прозрачную белизну лица, прервались. Чья-то тонкая рука легла на ее пальцы и сжала их.

– Слушай, Лотос, наклони голову, а то «синявка» увидит... Так... А теперь слушай: откуда ты знаешь всю эту нелепую историю про Черного Принца? Скажи мне, пожалуйста, – насмешливо голосом спрашивала стоявшая рядом с Лотосом на молитве Лидия Воронская.

– Бессовестно и глупо смеяться, Воронская, над тем, чего сама не понимаешь, – досадливо отвечала Елецкая. – История Черного Принца далеко не выдумка. Это было истинная правда. Ее рассказывали духи, тени умерших людей, одной женщине, и она записала все это дословно... Об этом есть даже целая книга... Черный Принц существовал на свете, потом умер и прилетал в виде птицы с того света пить кровь детей и молодых девушек... Клянусь тебе, что это была правда.

– А я тебе клянусь, что все это чушь! – вспльчиво вскрикнула Воронская, совершенно забыв о том, что она стоит на молитве, и нетерпеливо топнула ногой.

– Воронская... *Vous serez inscrite!*<sup>2</sup> – прозвучал голос неожиданно вынырнувшей откуда-то m-lle Эллис.

Подтверждая свою угрозу, классная дама извлекла из кармана штрафную книжечку, куда заносились фамилии про-

---

<sup>2</sup> Воронская, вы будете записаны!



винившихся воспитанниц, и четко вывела на ее маленькой страничке фамилию Воронской.

– Ах, пускай записывает сколько влезет! – досадливо махнув рукой, проворчала Лида, – но ты-то должна по крайней мере сознаться, Елочка, что все это чепуха, – снова обратилась она к Елецкой.

– Воронская! – прозвучал негодующий голос синей дамы, и новая заметка водворилась против имени Лиды в «штрафной».

Воронская на мгновение умолкла, потом по-мальчишески тряхнула короткими волосами и вновь зашептала чуть не в самое ухо своей соседке:

– Ты пойми, Лотос... Ты пойми... Я не верю, я не могу верить... Мертвые никогда не возвращаются с того света... Все это чушь и глупости одни... Уверяю тебя, Елочка, уверяю тебя...

Она хотела прибавить еще что-то для убедительности, но мгновенно смолкла и подалась назад.

Перед ней было перекошенное от гнева лицо Лотоса.

– Ага!.. Ты не веришь!.. Ага!.. – каким-то свистящим шепотом произнесла Елецкая. – Так вот что: приходи сегодня в полночь в умывальню... Весь наш кружок «тайнственной лиги» будет на сеансе, устраиваемом в честь Черного Принца... Мы будем вызывать духа Гаруна-аль-Рашида, а может быть, его, Черного Принца... Приходи!.. Слышишь? Ровно в двенадцать мы начнем наш сеанс...

Разговор Воронской и Елецкой был прерван резким окликом классной дамы.

– Молчать!.. Не шептаться, Елецкая!.. Taisez vous!..

Обе девочки поспешно отвернулись одна от другой.

Молитва окончилась.

Снова загрели скамейки, зашелестели зеленые платья, и двести семьдесят пять воспитанниц, в возрасте от девяти до восемнадцати лет, спешно выстроившись в пары, стали чинно подниматься в верхний этаж, где их ждали жесткие казенные постели и ночной отдых до следующего утра.

Лида Воронская шла в паре с Верой Дебицкой, веселой черноглазой девочкой, первой ученицей класса. За ними чинно выступали красавица Черкешенка и бледная Елочка. Потом шла Мара Масальская, хохлушка из-под Киева, с румяным лицом, со вздернутым неправильным носом и темными блестящими глазами, как черешни из ее родимых вишневых садов. С нею об руку шла не по годам умная, серьезная Женя Бутусина, «профессорша», девочка редкой честности и неподкупности убеждений.

М-ле Эллис, французская дама, полненькая, добродушная, но очень вспыльчивая особа, с черепаховым пенснэ на носу, вела класс. По обе ее стороны шли миниатюрные Пантарова и Додошка. Замыкали длинную шеренгу, разбитую на двадцать пар старшего класса, высокие Зина Бухарина с типичным южным лицом креолки, за которое она и носила это прозвище, и степенная Старжевская, отличная ученица

и лучшая музыкантша-пианистка из всего первого класса.

Младшие отделения давно покинули столовую, а за ними вступили в длинный нижний коридор и старшие, выпускные.

Лида Воронская шла, низко опустив голову. Обычно веселые глаза девочки теперь рассеянно скользили по ровным квадратикам паркета.

Мысли Лиды были поглощены предстоящим «сеансом» в умывальной. Она хорошо знала, что Лотос, Бухарина, Макарова, Гордская, Дебицкая и сестрички Пантаровы тайком от других институток устраивают по ночам какие-то секретные заседания, или, как они сами выражались, «занимаются спиритизмом». Лида знала, что спиритизм – это целое учение о таинственной силе, которая дает возможность вызывать души людей, давно умерших, даже за многие сотни и тысячи лет, и разговаривать с ними, заставляя их отвечать на разные вопросы. Она также слышала и то, что для вызова духа с того света поклонники спиритизма – «спириты» и «спиритки» – прибегают к довольно странному способу: они садятся за стол в полутемной комнате и, положив на край стола руки, ждут в глубоком молчании, когда стол начнет стучать ножками, ходить по комнате, вертеться. Слышала Лида и о тех, якобы одаренных особенной духовной силой людях, «медиаумах», которые служат посредниками между тенями умерших людей и вызывающими их спиритами.

В то время спиритизм вообще был в большой моде. В великосветских гостиных ему посвящали много времени, спо-

рили о нем, говорили, писали, причем одни увлекались им, другие считали обманом. Это модное развлечение проникло и в стены института, где вскружило многие юные взбалмошные головки.

Лида не верила в спиритизм, не верила в возможность какого-то бы ни было общения людей с духами при посредстве вертящихся столиков и медиумов. Она смеялась от души, когда узнала, что некоторые из ее подруг поддались модному способу времяпрепровождения и стали устраивать в институтской умывальной свои сеансы, образовав особый кружок под названием «Кружок таинственной лиги». Еще больше смешило Лиду, что Елецкая, «Лотос», она же, по другому прозвищу, «Пушкинская Татьяна», она же «Елочка» – по третьему, была единогласно в кружке признана «медиумом», способным вызывать духов для переговоров, и орудует всю на этом поприще.

Лида давно жаждала получить приглашение в странный кружок. Ее всегда забавляли таинственные спиритки. Однако последние остерегались приглашать Воронскую, боясь недоверия и насмешек с ее стороны. Остерегались до последнего дня, но вот сегодня ее, наконец, позвали.

Лида торжествовала. Ее любопытство было крайне раздражено. Веселой, с трезвыми взглядами на жизнь, девочке казались странными, нелепыми и смешными все эти басни о духах, являвшихся по первому зову какой-то маленькой институтки, вроде Елецкой, и подобных ей. И она была убеж-

дена, что достаточно будет хоть раз побывать ей на, «сеансе», чтобы убедиться, что это чушь и выдумки.

Она и сейчас думала об этом, шагая по длинному коридору в этот поздний вечерний час. Неожиданно на ее плечо легла рука Креолки.

– Лида, Вороненок, ты послушай, что она говорит, – зашептала Бухарина, тараща и без того огромные глаза в сторону Елецкой, – ты послушай только, что она говорит, Вороненок, милый...

– Что, что такое? – неожиданно пискнула вынырнувшая перед ними Додошка, – что она говорит, Зиночка?.. Скажи, скажи...

– Ах, душка, опять о Черном Принце!.. Слушайте только...

И Креолка, всплеснув руками, беспомощно сложила их на груди.

– Говори, Лотосенька, говори, Елочка!.. Ах!.. – просила Рант, чахоточная девочка, с багровыми пятнами румянца на щеках и с милыми, необычайно живыми глазами.

Елецкая не заставила себя просить. Ее несколько безумный взор расширился, зеленый русалочий огонь загорелся в нем. Лицо, бледное, без кровинки, вдохновенно просияло, и она проговорила глухо, в экстазе, разом охватившем ее:

– Я верю, что он, Черный Принц, есть, был и будет... Что там, где знают его, говорят о нем, там он и пребывает... Я точно слышу шорох его огромных крыльев за спиною, когда

он летает, и его легкие шаги, когда он ходит здесь по земле. И я чувствую еще, что он явится сюда к нам, в этот темный коридор, не сегодня завтра, когда все улягутся спать, когда потухнут огни и... и...

– И будет пить нашу кровь и кушать наше сердце... Право, вы должны сознаться, что у Черного Принца довольно странный аппетит, – послышался насмешливый голос Воронской.

На нее зашикали, затопали.

– Опять насмешки, Воронская!.. Не принимать ее в кружок, медапочки, не принимать ни за что на свете! – слышались негодующие голоса.

– Глупышки вы этакие, несут всякую чушь, а сами трясутся... – рассмеялась Лида.

– И все-то ты врешь, никто не боится, – трусливо озираюсь, шепнула Додошка. – Ни одна душа, ясно, как шоколад... Чего тут бояться?

Воспитанницы миновали длинный коридор и вошли на темную площадку лестницы, где внезапно потух газовый рожок и воцарилась полутьма.

– Ничего я не боюсь, – расхрабрилась Додошка. Ее руки судорожно потирали одна другую, а взор продолжал пугливо бегать по сторонам.

– Уж будто?.. – сощурилась Воронская.

– Тише же, медапочки, дайте Лотосу говорить, – зашикала Бухарина, и ближайšie пары снова повернули головы в сторону бледной девочки с русалочьим взглядом.

– Да, mesdames, я чувствую, что он придет скоро, – своим глухим, надтреснутым голосом снова заговорила Елецкая. – Он войдет через швейцарскую, прорвется за стеклянную дверь, вихрем промчится через площадку и лестницу, и... и появится там, на том конце коридора, – заключила она и, протянув вперед бледные руки, замерла, тараща свои и без того огромные глаза.

– А!.. а-а-а!!! – диким, пронзительным криком вырвалось у воспитанниц.

– Черный Принц уже здесь!.. Здесь!.. – взвизгнула Додошка и, закрыв лицо передником, спотыкаясь и путаясь в длинном камлотовом платье, с тем же пронзительным визгом бросилась опростелю по лестнице, прыгая через несколько ступеней зараз.

Как стая испуганных птиц, шарахнулись за нею и остальные. Не помня себя, с диким истерическим криком, институтки метнулись вперед, толкая и сбивая с ног друг друга.

Паника старших заразила младших, которые уже успели добраться до верхнего этажа. Крик повторился на верху лестницы, пронзительный, гулкий. Кричали маленькие, кричали средние, кричали большие, кричали классные дамы, стараясь во что бы то ни стало водворить порядок и успокоить мечущихся в страхе детей.

– Он тут!.. Он тут!.. Он идет сюда! Спасайтесь, mesdames! Спасайтесь! – неистовствовала Додошка, цепляясь своими пухлыми руками за передники бегущих подруг.

– Вот он!.. Вот он!..

Несущаяся, как стрела, Елецкая разом остановилась и, тяжело переводя дух, протянула вперед руку.

– Вот он!.. – в диком экстазе вскричала она. Бегущие девочки замерли на минуту, столпившись испуганным стадом овечек на средней площадке лестницы. И новый отчаянный вопль потряс стены здания и гулким пронзительным эхом повторился там наверху визгливыми голосами малышей.

В дальнем конце коридора, где белела стеклянная лазаретная дверь и где рядом находилась квартира начальницы, появилась высокая, худая фигура человека в черном,двигающаяся вперед стремительным шагом, прямо навстречу перепуганным выпускным...

\* \* \*

Черный Принц... Неужели это он?..

Мысленно задав себе этот вопрос, Лида Воронская не ощутила ни малейшего страха. Одно лишь жгучее любопытство разбирало девушку.

Мимо нее только что с диким воплем пронеслась последняя пара одноклассниц, и на нижней темной площадке теперь оставалась только она, если не считать высокого человека в черном плаще, быстро приближавшегося к ней по коридору.

Человек сделал еще несколько шагов по направлению



приютившейся у подножия лестницы девочки и теперь уже был близко от нее.

Что-то екнуло в сердце сероглазой Лиды, не то испуг, не то смятение. На площадке было темно и пустынно.

Швейцар Петр, или «кардинал», как его называли институтки за пурпуровую ливрею, вышел подышать весенним мартовским воздухом, и девочка оказалась наедине с высоким человеком в черном плаще.

«Неужели Черный Принц не выдумки?», – вихрем пронеслось в мыслях Лиды.

Но смятение недолго гостило в ее впечатлительной, но далеко не трусливой душе. Не терпя еще с детства ничего недоговоренного, неясного, девочка и теперь сгорала от желания выяснить как можно скорее появление таинственного незнакомца в нижнем коридоре института.

И прежде чем высокий человек успел сам приблизиться к ней, Лида Воронская быстро шагнула ему навстречу и крикнула звонко:

– Кто вы такой?.. И зачем вы пришли сюда?..

– Маленькая русалочка, стыдно забывать старых друзей! – послышался веселый отклик, и быстрым движением высокий человек сорвал широкополую фетровую шляпу с головы и темный плащ, окутывавший его.

Перед Лидой мелькнули богатырские плечи, длинная шея и почти детская по размеру голова с пронизательными и острыми глазами ястреба и прямым носом. Человек улыбнулся.

– Большой Джон!.. Ах, это вы! – радостно вырвалось из груди Лиды, и охваченная приступом необузданного детского восторга встречи она запрыгала на месте и захлопала в ладоши, как самая маленькая девочка.

Молодой человек с ласковой улыбкой посмотрел на нее и рассмеялся.

– Милый Большой Джон!.. Вы мало переменились, милый, хороший Большой Джон, за эти четыре года!.. Представьте себе, наши глупые девочки приняли вас за Черного Принца!.. Да, за Черного Принца! – говорила Лида, блестя разгоревшимися, счастливыми глазами.

– Ого! За Черного Принца!.. Да это совсем нечто новое и интересное... Вы мне, конечно, потом объясните, кто такой Черный Принц, маленькая русалочка. А теперь покажитесь-ка, дайте взглянуть на вас, – беря за обе руки свою собеседницу, говорил неожиданный гость.

С минуту он созерцал девочку молча, ласковыми, но острыми глазами, потом снова заговорил, произнося слова с чуть заметным иностранным акцентом:

– О, как же мы выросли за эти четыре года! Совсем стали взрослою барышнею! А только где же ваши длинные косы, маленькая русалочка?

– Их срезали во время скарлатины, Большой Джон. Но не в этом дело... Рассказывайте, откуда вы появились сейчас, – радостно спрашивала Лида.

– Позвольте же мне пройти сперва в приемную, русалоч-

ка... Право, болтать в приемной куда удобнее, нежели здесь, на лестнице, – рассмеялся Большой Джон беспечно и тут же прибавил:

– Я уже побывал у вашей баронессы-начальницы, и она разрешила мне повидаться полчаса с вами... разумеется, после того как я сообщил ей, что с вечерним экспрессом приехал из Лондона и сегодня же ночью еду снова домой, в Шлисельбург.

– Как?.. Вы уезжаете сегодня, Большой Джон? – испуганно спросила Лида.

– О, нет! Это была только военная хитрость, маленькая русалочка, невинная ложь вашего большого друга, для того, чтобы повидать вас сегодня же, – снова рассмеялся молодой человек. – Ведь иначе ваша директриса не разрешила бы мне повидать вас сегодня... А мне так хотелось вас повидать!.. Но я останусь в Петербурге до завтра и завтра еще раз побываю у вас.

– Ах! – радостно вырвалось из груди Лиды, и она крепко сжала руку своего собеседника.

Они прошли в небольшую комнату с зеленою мебелью по стенам, с высоким трюмо в простенке между окон, с изображениями лиц императорского царствующего дома – огромными портретами во всю вышину стен.

– Ну, вот, садитесь здесь и рассказывайте! – командовала Лида, усаживая своего гостя в удобное мягкое кресло у окна. – Где вы были, Большой Джон?.. Что вы видели?.. Как пу-

тешествовали все эти четыре года?.. Рассказывайте же, рассказывайте скорей!

– О, это слишком долго рассказывать, маленькая русалочка, – запротестовал ее гость с добродушной улыбкой. – Когда вы окончите курс и приедете весной в наш богоспасаемый город Шлюшин, как его называют мои русские друзья, я вам буду рассказывать так много, что у меня онемеет язык, а у вас заболят уши. А теперь, в эти полчаса, я могу только сообщить вам, что, благодаря моим ходулям-ногам и длинной, как у жирафа, шее, я за последние четыре года исходил и повидал гораздо более всего того, что полагается исходить и видеть обыкновенным смертным. Я залезал, русалочка, на самую высь альпийских ледников и низвергался в тихие долины Тироля. Я носился, как рыба-акула, по водам океанов и сгорал от зноя в горячих пустынях... Я задираю свою маленькую голову так, что с нее слетала шляпа, и глазел на гигантские грани Хеопсовой пирамиды и наипочтительнейшим образом раскланивался перед великими сфинксами пустыни. Не говорю уже о том, что я любовался боем быков в Мадриде, лобзал папскую туфлю в римском Ватикане и объедался устрицами в Остенде. Все это было предобросовестно проделано мною до тех пор, пока не прошли четыре года и я не почувствовал, что мой кошелек так же пуст, как желудок выздоравливающего после диеты...

– Ха! ха! ха! – Звонко рассмеялась Лида. – Вы тот же Джон, тот же милый Большой Джон, каким были и до вашего

путешествия по всему свету!

– Я не вижу причины изменяться, маленькая русалочка, – произнес он и придал своему лицу комически-унылое выражение, при виде которого девочка окончательно развеселилась.

– Ну, а теперь расскажите про себя. Как ваши дела и делюшки? Каковы ваши отношения к домашним, к вашей мачехе, братьям и малютке-сестре? Вы помните, в наше последнее свидание вы так нелюбезно отзывались о мачехе. Вы не любили тогда вашу вторую маму и даже рассердились, когда я заговорил о ней... Впрочем, не будем пока вспоминать об этом... Скажите лучше, как чувствует себя русалочка и все ли еще мечтает она о том, как хорошо было бы сделаться принцессой, как мечтала она когда-то маленькой девочкой. Помните?

Лида, застенчиво посмеиваясь над собою, стала быстро рассказывать своему взрослому другу о том, что за четыре года, которые они не виделись, многое изменилось в ее жизни, что между ней и ее мачехой, которую она раньше ненавидела, теперь самые лучшие отношения, что она любит свою «вторую» маму немногим разве менее «солнышка», то есть отца, которого она и сейчас обожает, как прежде, нет, даже больше прежнего, что братья ее подросли, а сестричка Нина – такая душка, такая прелесть. Затем Лида рассказала об институтской жизни и сообщила, что в институте все стало по-новому с тех пор, как они «выпускные». Им теперь дано

больше свободы. О, гораздо больше! У них поставлено зеркало в дортуаре и «свои» собственные свечи горят до одиннадцати часов. Им разрешено даже читать Толстого и Гончарова. Затем она подробно рассказала, как девочки увлекаются спиритизмом, устраивают сеансы, не все, конечно, а только те, которые принадлежат к кружку «Таинственной лиги». И особенно они увлекаются Черным Принцем, в которого она, Лида, конечно, не верит, но дух, которого вызывает Лотос, утверждая, что этот Черный Принц жил когда-то в Индии, пил кровь детей и девушек, кушал их сердца и... и...

– Прекрасное жаркое, нечего сказать!.. Но как вы можете повторять подобные нелепости, милая русалочка? – спросил Джон и покачал своей комически-миниатюрной головой с коротко остриженной белокурой щетинкой волос. – Ведь я думаю, что вы, по крайней мере, не верите всему этому вздору?

Потом его лицо разом стало серьезно. Он взял своей большой рукой маленькую ручку Лиды и заговорил тоном старшего брата, разговаривающего с младшей сестрой:

– Вот видите ли, маленькая русалочка, я был в Индии, в стране таинственного, на многое нагляделся у индийских факиров и убедился воочию, что по большей части это ловкие фокусники, дурачащие легковерный народ. Многие из них в моем присутствии вызывали духов, которые разговаривали загробными голосами, вырывали пламя и огонь из земли, и так далее. Но оказалось, что это были не колдуны и

чародеи, а просто обманщики. Правда, существуют какие-то странные силы в природе, магнетизм и гипнотизм, исходящие от более энергичных людей и действующие на более слабых. Но при чем же тут вызывание давно умерших?.. Не понимаю, как может прийти покойникам блажь покидать свой загробный мир и прогуливаться по свету! Я уверен, что никакого духа Черного Принца, пожирающего детей, никто в мире вызвать не может, потому что его не было, нет и не будет... В этом я даю вам на отсечение мою голову, слишком маленькую голову слишком Большого Джона, – заключил он со смехом.

Молодой человек стал собираться домой.

– А теперь доброй ночи, маленькая русалочка. Вы видите, что я люблю вас, как мою младшую, самую дорогую сестренку, и прежде нежели попасть в наш маленький городок, где мы с вами познакомились, я завернул к бедной русалочке-принцессе, запертой в замок колдуньи Науки ровно на семь лет... Завтра приду к вам снова, конечно, если пожилые дамы из породы Аргусов, оберегающие ваше спокойствие, не будут ничего иметь против... А пока до скорого свидания, маленькая сестричка-русалочка. Спите хорошенько. Желаю вам от души увидеть меня сегодня во сне!

– До скорого свидания, Большой брат Джон, – произнесла Лида.

Оба разом поднялись со своих мест и пожали друг другу руки. Потом Большой Джон накинул на плечи свой неуклю-

жий плащ, тот самый, который так помогал ему защищаться от бурь и ветров на снежных альпийских вершинах, и, еще раз улыбнувшись сероглазой девочке, вышел из приемной.



## ГЛАВА 2

# **В дортуаре. – О недавнем прошлом. Союз Таинственной лиги. – Гарун- аль-Рашид. – Загробная поэзия**

– Никакого Черного Принца нет, не было и не будет! Если не верите мне, спросите Большого Джона. Он объездил весь мир и знает все, что происходит на свете! – заявила торжественно и громко с порога спальни Лида Воронская.

Эта спальня, «дортуар» по-институтски, представляла собой длинную, узкую комнату с иконой в углу, перед которой теплилась хрустальная лампада. В противоположном углу стояло высокое узкое трюмо. Далее была дверь, ведущая в умывальную. Четыре ряда кроватей с жесткими матрасами и казенными нанковыми одеялами были размещены таким образом, что соприкасались изголовьями одна с другой. Подле каждой постели находился ночной столик, разделяющий кровати небольшим, узким пространством, называемым «переулком». В ногах кроватей стояли деревянные табуреты, на которых лежало аккуратно сложено на ночь платье воспитанниц.

Сами воспитанницы сидели, разбившись группами, на постелях и табуретах в «собственных» фланелевых цветных

юбочках и «собственных» же байковых платках на плечах. На каждом ночном столике стоял подсвечник из цветного хрусталя с зажженной свечою. Отблески свечей играли на стенах, и делали казенную неудобную спальню веселее и наряднее, нежели днем.

По оживленным спорам девочек, по их взбудораженным лицам было видно, что недавний переполох еще далеко не улегся в этом девичьем заповеднике, отделенном толстыми, крепкими стенами от всего прочего мира.

Когда Лида Воронская, возбужденная и запыхавшаяся, со съехавшей набок пелеринкой, вбежала сюда, все разом повскакивали со своих мест и окружили подругу.

– Что такое?.. Как нет Черного Принца?.. Кто же был человек в плаще?.. И где ты пропадала все время?.. – посыпались на нее вопросы.

Лида едва успевала отвечать любопытным подругам.

– Повторяю еще раз: Черного Принца нет. Все выдумки и чепуха!

– Неправда! Ложь!.. Я видела черные крылья за плечами незнакомца и мрачные глаза, сверкавшие из-под капюшона, – доказывала Додошка.

– Додошка, молчок! Ты и у ламповщика Кузьмы тоже видела рога на голове в прошлое воскресенье. Удивительная психопатка!.. – заметила голубоглазая Эльская и метнула в сторону Даурской сердитый взгляд.

– Эльская, вы не имеете права браниться! – живо закипела

Додошка.

– Ты невероятно глупа, если думаешь, что это брань, – спокойно возразила Сима.

– Нет, я знаю, «психопатка» бранное слово. Есть даже лечебница для психопатов, психопатская лечебница, – продолжала горячиться Даурская.

– Дурочка, вовсе не психопатская, а психиатрическая, – пояснила Эльская.

Но не так-то легко было навести на путь истины кубышку Додо.

– Неправда!.. А если вы, Эльская, браниться будете, я пожалуюсь m-lle Эллис, – окончательно рассердилась она.

Сима пожала плечами, махнула рукой и, решив, что бесполезно «просвещать» Даурскую, отошла от нее.

– Послушай, Воронская, не разговаривай ты с ними, – сказала Сима. – Они невменяемы, право, и тебе их все равно не переубедить. Отнять у них веру в Черного Принца и в прочую чепуху – значит отнять радость и смысл их серой, будничной жизни. Они взвинчивают сами себя, пугаются и трепещут, и во всем этом они видят какой-то смешной и нелепый интерес... Если бы ты знала, как я хохотала, когда они все бежали, точно испуганные овцы, по лестнице, неистово горланя!.. Это, понимаешь ли, была незабвенная картина! Но где ты была? Кто это был у тебя на приеме? – неожиданно спросила Эльская.

Лицо Лиды приняло счастливое выражение.

– У меня был Большой Джон, понимаешь? Тот самый Джон, который изъездил весь мир, о нем я вам всем рассказывала столько раз прежде.

– Большой Джон Вильканг? – слышались недоверчивые голоса.

– Он самый! – подтвердила Лида. – А завтра он придет снова и будет на приеме. Я познакомлю вас всех с ним, и он расскажет вам про Испанию и Алжир, про Индию и Египет и еще про то, что Черный Принц – гадость и чепуха, и что только дети способны поверить в это...

– Да, да!.. Только дети и глупые институтки! – насмешливо присовокупила Сима.

Кто-то дернул Лиду за пелерину. Она живо обернулась. Перед ней стояла Елецкая.

– Воронская!.. – произнесла она и ее русалочьи глаза заблестели недобрыми огоньками. – Мы все, члены «Таинственной лиги», торжественно объявляем вам, что присутствие ваше на наших ночных сеансах не может быть ни в каком случае допустимо.

И сделав величественный жест рукою, она отошла от Лиды с видом разгневанной королевы.

– Бедненькая Воронская! Горе твое непосильно... Ты изойдешь слезами, бедняжка!.. Еще бы... Быть изгнанной из членов «Таинственной лиги!» О, это ужасно! Бедная! бедная!.. Позволь мне, ввиду твоего горя, приготовить тебе полдюжины платков для утирания слез, – и, едва договорив, ша-

лунья Эльская повалилась с хохотом на постель и оглушительно застучала ногами о железную сетку кровати.

– Эльская, я вас презираю! – тоном, не допускающим возражений, произнесла разгневанная Елецкая, не удостоив Вольку ни единым взглядом.

– Медамочки, разойдитесь!.. Атилла идет!.. – выкрикнула Рант, пулей влетая в спальню.

Почти одновременно с нею дверь из смежной с дортуаром комнаты приоткрылась, и толстенькая m-lle Эллис, неизвестно почему прозванная именем предводителя гуннов, вошла в спальню выпускных.

– *Couchez-vous, mesdames! Couchez-vous. Il'est deja onze heures...*<sup>3</sup> Эльская, что у вас за манера валяться с ногами на постели!

– К сожалению, я не могу отрезать свои ноги и спрятать их в карман, – ответила Сима, делая страшную гримасу.

– Не острите! Это неумно! Вы, кажется, никогда не поймете доброго к вам отношения! – вспыхнула m-lle Эллис. – И потом я должна всем вам сказать, что такой крик, такая суматоха недопустимы в стенах воспитательного заведения для благородных девиц. Что сделалось с вами сегодня, когда вы вышли из столовой! Всех маленьких перепугали... В другой раз я буду записывать зачинщиц... И что вас могло так испугать?.. *Je ne comprends pas!*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ложитесь спать! Ложитесь спать! Уже одиннадцать часов...

<sup>4</sup> Я не понимаю!

– Даурская, m-lle, видела вампира... – пискнула Юля Пантарова, прозванная подругами за свой маленький рост «Маленькой».

– Даурской всегда что-нибудь видится неприличное, – произнесла добродушно m-lle Эллис и, погрозив пальцем Додошке, захлопала в ладоши.

– Разве вампир это что-нибудь неприличное? – наивно спросила Пантарова.

– В постели, mesdames, в постели! Il est temps de dormir,<sup>5</sup> – произнесла в ответ классная дама.

Дежурившая в этот день по классу старшая Пантарова, Катя, не уступающая в шалостях своей младшей сестре, выдвинула табурет на середину спальни и протянула руку к висевшему над ее головой газовому рожку, прикрутила в нем свет. Дортуар погрузился в полумрак.

Лида Воронская зябко куталась в нанковое одеяло, свернувшись калачиком на своем матрасе.

M-lle Эллис прошла по притихшему дортуару, громко пожелала спокойного сна воспитанницам и исчезла за дверью своей комнаты.

Лида Воронская лежала напротив окна, выходявшего на двор института. Луч месяца и легкий сумрак весенней ночи, слабо прорезываясь сквозь синюю штору, делали таинственными белые постели с притихшими в них сорока юными воспитанницами. С одной стороны Лиды уже умудрилась

---

<sup>5</sup> Время спать.

сладко уснуть Додошка, с другой – черкешенка, приподнявшись на локте, мечтательно вглядывалась в мигающий огонек лампы. В противоположном углу дортуара вполголоса, испуленно Рант и Малявка.

Таинственный свет лампы перед образом Спасителя и синяя штора с проскальзывающим сквозь нее сиянием месяца напомнили Лиде давно забытую спальню, давно минувшие годы детства. Легкий сонм крылатых грез веял над ней.

Она, Лида, маленькая, смешная девочка, воображающая себя какой-то сказочной принцессой, перед которой все окружающие должны были склоняться до земли. Самолюбивая, гордая, любимица отца, баловень четырех теток и молоденькой гувернантки, Лида имела основание считать себя каким-то божком. У маленькой Воронской не было матери. Она умерла при рождении девочки. Зато у нее был отец необычайной доброты, горячо любивший свою девочку. Отца Лиды звали Алексеем Александровичем Воронским; в устах же Лиды не находилось другого имени, как «солнышко», для горячо любимого папы. Это прозвище девочка придумала еще в раннем детстве и с тех пор не называла отца иначе, как «солнышко», «папа Алеша» или другими ласковыми именами.

Странным ребенком росла Лида. Она ни в чем, казалось, не знала золотой середины: то ее игры были мальчишески буйны, то вдруг, налетавшая на нее мечтательность погружала девочку в какой-то фантастический мир. Она воображала

себя сказочной принцессой и жила своими грезами, чуждыми действительности.

Когда Лида подросла, случилось так, что «солнышко» выбрал себе новую подругу жизни – отец «принцессы» женился...

Лида потеряла голову. Маленькая принцесса упала с неба на землю. Ей дали мачеху! Весь мир стал точно сразу серым, бесцветным в глазах ребенка, считавшего что ее «солнышко» должен был любить ее одну в целом свете...

Лида замкнулась, ушла в себя. Она вообразила себя жертвой мачехи, такой именно, о которых говорится в сказках. Она стала сторониться даже своего солнышка-отца за то, что он предпочел ей чужую «тетю Нелли», светскую барышню, которая, несмотря на всю ее доброту, не сумела найти общий язык с маленькой падчерицей. Лида просто возненавидела ее.

Когда Лиде минуло одиннадцать лет, она в Доме своего отца (они жили тогда в Шлиссельбурге) встретила странного молодого человека, всегда веселого, бодрого духом, и полюбила его, как брата.

Это был Джон Вильканг, сын англичанина, владельца большой фабрики под Шлиссельбургом, только что вернувшийся из Англии, где он блестяще окончил Оксфордский университет. С первого же дня знакомства «Большой Джон» (как он сам себя называл вследствие необычайно высокого роста) привязался к «маленькой русалочке» – такое



прозвище было им дано Лиде – и всячески старался смягчить ее отношение к «новой маме». Это однако плохо удавалось ему: Лида ненавидела последнюю до тех пор, пока сама судьба не дала совершенно новый оборот делу.

Это случилось в то время, когда Лида была воспитанницей одного из младших классов института. В страшную для института зиму две воспитанницы заболели тяжелой формой оспы. Лида Воронская была одной из этих двух жертв. Девочка, чуть живая, лежала изолированная в темной комнате, с повязкою на глазах. За ней ухаживала, с редким терпением, какая-то женщина, которая называла себя сестрою милосердие Анной. Она, не боясь заразы, позабыв грозившую ей самой опасность смерти, ни на минуту не отходила от постели больной.

Только благодаря уходу сестры Анны Лида была вырвана из когтей смерти.

Дни и ночи она просиживала в совершенно темной комнате у изголовья девочки, покорно выполняя все ее капризы, все ее желания.

Лида не могла не привязаться к этой самоотверженной женщине, не могла не полюбить ее со всем пылом своей экзальтированной души. Привязалась она к сестре Анне, не видя ее лица, потому что во все время болезни глаза Лиды были закрыты повязкой.

Постоянным желанием выздоравливающей стало увидеть и как можно скорее милую сестру. И когда впервые упала с

лица больной пропитанная каким-то лекарственным снадобьем маска, девочка увидела ту, которую страстно ненавидела до тех пор, и с того дня полюбила ее всей душой.

Оказалось, что ее мачеха приняла на себя добровольно роль сестры милосердия, чтобы вырвать свою падчерицу из грозных когтей смерти...

Прошло четыре года, и Нелли, которая возбудила сначала такую ненависть у необузданной своей падчерицы, стала нежной, ласковой и заботливой матерью для юной Лиды Воронской.

\* \* \*

Лида спала. Кроткими лучами сиял молодой месяц, бросая легкий свет на лица молодых девушек, сладко спавших на жестких постелях.

Но не все девушки спали в эту ночь. Вот приподняла головку с подушки Горская, перегнулась через спящую Лиду, дотянулась рукою до изголовья Додошкиной кровати и стала тормошить спящую девочку за плечо.

– Даурская, вставай!

Кубышка Додо от неожиданности скатилась с постели.

В это время на противоположном конце дортуара Лотос будила Бухарину, Рант – вторую Пантарову и Дебицкую.

– Вставайте, медапочки, скорее вставайте. Уже полночь давно, и как раз время начинать сеанс...

К одной из ближайших к Воронской постели подбежала, шлепая босыми ногами, Макарова-«Макака», маленькая, кукольного роста девочка с хорошеньким добродушным личиком избалованного и капризного дитяти.

– Мара, вставай!.. Пора, Хохлушечка! Лотос всех будит! – тормошила она разоспавшуюся соседку, и круглолицая Мара стала усиленно протирать заспанные глаза. Легкими белыми тенями, в длинных сорочках, холщовых юбках и ночных кофточках, с распущенными вдоль спины косами, в шлепанцах, девочки проскользнули в умывальную одна за другой.

Это была небольшая комната с широким медным желобом и десятком таких же кранов, Полочки для мыла, несколько деревянных табуретов и комод с выдвижным ящиком, где, сладко похрапывая, с широко открытым ртом, спала сном праведницы дортуарная девушка Акуля – вот и вся незатейливая обстановка этой комнаты, где должен был произойти спиритический сеанс.

Первая вошла в умывальную Елецкая и тотчас же принялась за работу. Она сдернула с плеч толстый байковый платок-плед и разостлала его посреди комнаты, потом вынула из-за пазухи большой вчетверо сложенный лист бумаги и разложила его поверх платка. На листе огромными буквами, в виде круга, занимавшего весь лист, был написан алфавит.

Затем из кармана холщовой юбки она достала небольшое блюдечко и, опрокинув, положила его в середине азбучного круга. На нижней стороне блюдца, у самого края его, кра-

совалась черненькая небольшая чернильная точка, в виде кляксы.

– Ложитесь все на плед, – скомандовала Лотос, и все девочки, не медля ни минуты, улеглись на платке вокруг листа с азбукой.

– Ты будешь записывать слова духа, Гордская, – тем же, не допускающим возражений, голосом приказывала Елочка, – я же, как медиум, Бухарина, Макарова и Дебицкая будем держать блюдечко. Рант, Хохлушка, Малявка, Додошка, следите за нами, чтобы никто не вздумал плутовать.

– Хорошо! – дружно отозвались спиритки и замерли, лежа на платке животами вниз.

Стрекоза Рант, Креолка Бухарина, Вера Дебицкая и сама Лотос положили указательные пальцы на края блюдечка.

– Все ли готовы? – с тем же торжественным видом спросила Елецкая. Она стала буквально неузнаваема за эти короткие минуты. Щеки – без признака крови, русалочьи глаза, горящие и жуткие, волосы – черные, распущенные по плечам, – все это делало странную, экзальтированную девочку каким-то особенным, чуть ли не фантастическим существом в глазах ее подруг.

– Начнем... – раздался снова глуховатый голос Ольги.

– Ах, постойте, – прозвенел тоненький голосок Черкешенки, – а как же Воронская?.. Ведь мы же пригласили ее...

– Черкешенка не может жить без своей вороны, – засмеялась, ехидничая, Малявка. – Да ты не слышала разве, что

Лотос нашла ее недостойной войти в кружок Таинственной лиги, в наш кружок?..

– Да, я признала ее недостойной, – отозвалась Лотос.

– В таком случае я уйду, – произнесла Черкешенка, отталкивая от себя лист бумаги и карандаш, которым приготавлилась уже записывать речи вызываемого духа.

– Это невозможно! – с досадой проговорила Елецкая, – без твоего присутствия сеанс немислим. У тебя такие глаза, душка, что ты сама иногда можешь быть, за моим отсутствием, медиумом. Нет, уж раз пошло на это – оставайся. Я готова уступить. Додошка, пойдй в дортуар и приведи сюда Воронскую, – неожиданно обратилась она к Даурской.

– Послушайте, Елецкая, не посылайте меня в дортуар, я боюсь. Там так храпят, точно перед смертью, – взмолилась Додошка, умоляюще складывая свои пухлые ручки на груди.

Она говорила Лотосу «вы» в эту минуту, как и все прочие спиритки, видевшие в Елецкой во время сеансов особое существо, посредницу между ними и загробным миром.

– Ты пойдешь, Додошка!.. Слышишь ли, ты пойдешь!.. – настойчиво повторила Лотос, и глаза девочки блеснули гневом.

– Иди, Додик, иди, милый!.. Я тебе завтра за обедом за это мою порцию вареников с творогом отдам... – шепнула Рант и незаметно перекрестила Додошку.

Толстенкая девочка при напoминании о варениках уже не колебалась ни одной минуты: соблазн был слишком ве-

лик. Додошка облизнулась, как котенок, и робким шагом направилась в дортуар.

Там было все по-старому. Девочки спали. Кто-то говорил во сне: «Отдай мне мои калоши... Это мой номер, а не твой, Карская, глупая, слепая... Не видишь разве?»

Додошка подошла к постели Воронской.

– Лидка, проснись!.. Пожалуйста, проснись поскорее!.. Вороненок... пожалуйста, проснись!

Долго упрашивать ей, однако, не пришлось. Воронская уже сидела на постели, слушала бессвязный лепет Додошки и, тихо посмеиваясь, протирала глаза.

– Ага! Понимаю! Гордская просила за меня... Дурочка! Зачем? А впрочем, отчего же не познакомиться с Черным Принцем и другими мертвыми господами?.. Хорошо, я согласна. Иди и скажи им всем, что сейчас оденусь и приду.

– Ни за что одна не пойду! – возразила Додошка. – Мурка орет во сне как безумная. Не пойду мимо ее постели одна... Я подожду тебя, Лидюша... милая, позволь...

– Вот так спиритка! Храбрости хоть отбавляй! Ну, хорошо, идем вместе.

Когда они появились в умывальной, девочки лежали по-прежнему неподвижно, как мумии, на широком пледе посреди комнаты, с лицами, красноречиво выдающими их душевное волнение.

– Бог в помощь, сестрички!.. – весело проговорила Воронская.

– Тише, тише, молчи, Вороненок, ты спугнешь духа, несчастная!.. Блюдечко движется уже, гляди... – всполошились Малявка и Хохлушка.

Лида заглянула вниз через головы подруг.

Блюдечко, чуть придерживаемое четырьмя указательными пальцами четырех девочек, действительно, легонько двигалось по кругу, останавливаясь сделанной на нем черной точкой то на одной букве, то на другой.

Гордская записывала буквы, из которых составлялись слова. Таким путем дух разговаривал со спиритками. Последние затихли и внимательно следили за ходом блюда.

– Ложись, Лида, и не смейся, пожалуйста... Ты испортишь нам этим все дело, – сказала черкешенка, и ее холодная, как лед, рука нервно сжала пальцы подруги.

Лида с обычной своею насмешливой улыбкой легла на указанное место, решившись позабавиться во что бы то ни стало в эту ночь.

Блюдечко двигалось все быстрее и быстрее. Серые, черные и синие глаза напряженно следили за ним.

Буквы, на которых останавливалась отметинка блюдечка, выливались в слова и приобретали смысл.

Дух говорил посредством блюдечка со своими почитательницами, очевидно, самым серьезным образом.

Лотос-Елецкая с застеклевшим взглядом, глухим, замогильным голосом вопрошала невидимое таинственное существо:

– Кто ты, решивший покинуть загробный мир ради нас, жалких, ничтожных детей земли?..

И она застыла в ожидании ответа.

Блюдечко задвигалось, останавливаясь то здесь, то там. Слова выходили.

«Я тот, о котором вы слышали все. Я нахожусь теперь в лучезарном саду блаженства и только изредка спускаюсь к вам, беседовать с теми, кто верит и любит меня...»

– Мы любим тебя, мы верим в тебя, голубчик, миленький!.. – со слезами, скорее страха, нежели любви, рявкнула Додошка.

– Молчать!.. – грозно прошипела Лотос, и ее тонкий бледный палец свободной левой руки закачался перед самым носом не в меру расходившейся спиритки.

– Тише, mesdames... Я чувствую... Я знаю, что он здесь сейчас между нами... – добавила она, оглядывая лица подруг. Малявка тихо взвизгнула от страха и поджала под себя босые ноги. Маленькая Макарова отскочила от листа, как от горячих угольев, и взмолилась:

– Умоляю вас, Елецкая, отпустите меня! Пусть кто-нибудь другой вертит блюдечко, я не могу больше...

– Ты дура, Макака, если говоришь так! – И глаза Ольги заметали молнии в сторону нарушительницы порядка. – Сколько раз говорить вам: вертит блюдечко «он», невидимый и бестелесный, вкладывая в наши пальцы ту силу и волю, которая исходит из него самого...



И тотчас же, наклоняясь к самому блюдцу, произнесла голосом, полным мольбы и тревоги:

– Заклинаю тебя, о божественный, открыть нам твоё имя, а также сказать, с кем ты желаешь беседовать из нас.

Таинственное блюдечко забегало, чуть ли не заплясало, в центре алфавитного круга, останавливаясь то на одной, то на другой букве.

Вышло: «Я хочу сыпать благоухание моих речей для возлюбленной дочери, моей по духу Ольги Елецкой».

– О, благодарю тебя, дух! Не имею сил высказать тебе мою преданность! – ударяя себя в грудь свободной левой рукой, воскликнула Ольга. И бледные щеки ее окрасились слабым румянцем радости.

– Но кто ты, скажи нам, великий! Имя, имя твоё сообщи нам!.. – совершенно забывшись в охватившем ее экстазе, завопила она, колотя ногами по полу.

Теперь блюдечко уже не скользило, а металось от буквы к букве изо всей прыти, на какую может быть способно простое, из белого фарфора, блюдечко.

Вот оно остановилось на «я», на «г», на «а», на «р», на «у» и так далее.

Вышла фраза: «Я Гарун-аль-Рашид, калиф Багдадский и поэт Гренады».

– Ах! – вырвалось из груди десятка девочек. – Это он! Арабский повелитель и поэт!

– Тот самый, что ходил по улицам Гренады и прислуши-

вался к нуждам своего народа, чтобы помогать беднякам, чтобы заставить судей судить по всей справедливости. Он жил в VIII веке после Р. Х. и прославлен в сказках «Тысячи и одной ночи», – твердо отчеканивая каждое слово из урока всеобщей истории, пояснила Ранг. Это был тот самый урок, за который она на прошлой неделе получила пятерку с минусом по двенадцатибалльной системе и потому помнила его теперь чуть ли не наизусть.

Воспользовавшись этой суматохой, Воронская заняла место Макаки, и тонкий палец девочки лег на освободившийся краешек блюда. Лотос неистовствовала. Как и подобало вести себя посреднице живого с загробным миром, она била себя в грудь, тарасила и дико поводила глазами и то шептала чуть слышно, то завывала страшным голосом, не имевшим ничего общего с обычно нежным, несколько глухим голоском ее эфирного существа.

Дортуарная Акуля начала уже заметно беспокоиться в своей выдвижной постели; сквозь сон она слышала все эти завывания.

А блюдечко бегало как живое. Буквы мелькали за буквами. Выходили стихи.

Гарун-аль-Рашид, очевидно, пожелал наградить виршами своих благодетелей спириток:

«Ночь тиха, ароматом Гранадских садов,

– выводило теперь неистово танцующее по бумаге блю-  
дечко, -

Насыщен беломраморный город,  
Спят и Тигр, и Евфрат у своих берегов,  
Спит нужда, спят печали и голод...  
Я Гарун-аль-Рашид, повелитель людей,  
Я насытил все нужды народа,  
Осушил слезы бедных голодных детей,  
Я им создал спокойные годы:  
Каждый мавр может кушать чеснок с колбасой  
И закусывать их апельсином,  
Пастилу Абрикосова, с чаем порой,  
Или сушки Филиппова с тмином...»

– Что?!. Что такое?!. Что за чепуха!.. Сушки от Филиппо-  
ва и пастила от Абрикосова!..

– При чем же тут Гранада?!. – слышался сдержанный  
ропот недоумевающих девочек.

– А Тигр и Евфрат, разве они протекают через Грена-  
ду?.. – возмущалась Вера Дебицкая, первая ученица. – Это  
невозможно!..

– Все возможно!.. Все!.. Все!.. Для духа по крайней мере,  
для духа Гаруна-аль-Рашида!.. – восторгалась Лотос и с пы-  
лающим лицом снова склонилась к блюдецку.

– О, великий повелитель Гренады, о, могучий калиф! –  
молила она. – Ты шутишь с нами. Шути, великий, если ты не

гневен. Если же ты гневен, то выскажи свое неудовольствие нам. Чем мы прогневили тебя?.. И скажи, могучий, чем нам умилоствитиь тебя.

«Нужна искупительная жертва, и когда она будет принесена, вы увидите Черного Индийского Принца, который явится к вам в эту же ночь...» – выплясывало блюдечко, и лица юных спириток приняли выражение самого острого, самого напряженного внимания.

– О, говори, великий, что нам сделать, чтобы умилоствитиь тебя? – вопрошала в экстазе Лотос.

Но тут блюдечко заплясало уже самым беззастенчивым образом. Стали выходить невероятные фразы и слова.

Дух, видно, забавлялся не в меру. «Пусть Додошка откажется завтра от своего пеклеванника с сыром за завтраком», – назначал дух искупительную жертву, отчего Даурская, чуть ли не плача, прошептала:

– Господи!.. Отчего же это на меня одну напасть такая!..

Но следующая фраза успокоила ее. «Пусть мой верный медиум вымажет себе нос сажей», – снова, резвясь, приказывал дух.

«И, наконец, пусть девицы Рант, Пантарова и Макарова окатят друг друга водой из-под крана».

О, это было уже слишком!..

– Дух шутит, – с мученической улыбкой на тонких губах проговорила Лотос, – надо дать отдых ему и себе... Отдохнем, подруги, и запасемся свежими силами, чтобы пригото-

виться к встрече с самим Черным Принцем.

– Как вы думаете, Елецкая, не надеть ли нам фланелевые юбки?.. Ведь Черный Принц мужчина, а мы в одних рубашках... – предложила Малявка, лязгая зубами от холода, так как успела достаточно продрогнуть в холодной умывальной.

– Да, вы наденьте юбки. А поверх них задрапируетесь одеялами. Так будет хорошо. Мы погасим ночник, чтобы Акуля, как недостойная, когда явится «он», не могла «его» увидеть... – мечтательно, с тою же блуждающей на тонких губах улыбкой, роняла Ольга.

– Елецкая, душка, послушайте, что я вас спрошу... Надо «ему», духу, делать реверанс, как учителям и инспекторам, или кланяться головой, как батюшке и архиерею? – дергая Лотоса за рукав кофты, приставала Додошка.

– По-моему, надо делать реверанс, ведь инспектору делаем, а «он» выше, – резонировала Макарова.

– Нет, Макакенька: духу реверансов не делают, – вмешалась с самым серьезным видом Воронская и в уголках ее рта зазмеилась усмешка. – Надо попросту потереться лбом и носом об пол. Это и будет самый лучший индийский привет...

– Воронская, если ты будешь насмешничать, мы изгоним тебя с сеанса! – спокойно, ледяным голосом произнесла Елецкая. – Боже, до чего они все глупы! – в отчаянии всплеснула она руками.

– А я все-таки скажу ему, как начальнице: – Nous avons

l'honneur vous saluer!<sup>6</sup> – волновалась, лязгая зубами, Додошка, склонившись к самому уху своей подруги Стрекозы.

– А он тебе за непочтение нос откусит, – вмешалась Воронская. – Говорю, надо на пол ничком и лбом о половицы, это самое рациональное у них выражение благоговения и восторга.

Додошка захлопала глазами и широко раскрыла рот, не зная верить ей или не верить.

Умывальная опустела, но не надолго. Вскоре в ней снова появились юные спиритки в синих, красных и голубых юбочках и в нанковых одеялах, в виде плащей спускавшихся до пят и волочившихся по полу наподобие шлейфов.

Одна Елецкая, как медиум, в отличие от подруг, вместо одеяла задрапировалась в простыню, цвет которой мог свободно спорить с ее бледным, как полотно, прозрачным личиком.

Теперь в умывальной стало темно. Кто-то проворно погасил ночник. Дортуарная Акуля, зарывшись еще глубже в своем ящике-кровати, храпела и причмокивала во сне. Луч месяца играл на ее круглом лице, на обнаженной руке и на покоившемся на полу белом листе бумаги с четко вырисованным в нем кругом алфавита.

Девочки в своих фантастических покрывалах из одеял стояли, прижимаясь друг к другу. На их лицах было написано испуганное ожидание. У Додошки Даурской громко сту-

---

<sup>6</sup> Имеем честь вас приветствовать!

чали зубы. Только двое из присутствующих оставались спокойными в эту минуту. Ольга Елецкая лежала распростертая над блюдечком, с распущенными, как у русалки, волосами, с белой простыней-покрывалом, пришпиленным к голове. Она положила длинные бледные пальцы на край блюда и с нетерпением ждала того, что скажет ей дух. Лида Воронская безмятежно сидела на краю желоба умывальника и хладнокровно болтала ножками, обутыми в красные туфли. По лицу Лиды блуждала улыбка недоверия.

Ольга Елецкая приблизила горящие глаза к самому блюдечку и произнесла глухо: – Великий дух Гарун-аль-Рашид, когда мы увидим Черного Принца?.. Соблаговоли ответить нам, могучий из калифов Гренады!

Тут блюдечко сделало не то скачок, не то шарахнулось, как живое, и плавно поплыло по кругу.

«Сейчас!» – произнесло безмолвными буквами алфавита оно.

Все ахнули от неожиданности. Додошка тихонько трижды перекрестилась под одеялом. Малявка беспомощно прошептала, подскочив к Воронской.

– Вороненок, душка, я сяду около тебя... Можно?

– Садись, если не боишься со страха в решительную минуту полететь в желоб.

Но Пантарова не поняла насмешки и, тяжело посапывая носом, уже влезала на выбранный ею пост.

Черкешенка точно зачарованная смотрела в лицо Лотоса.

Последняя, не меняя позы, спросила снова:

– Еще молю тебя ответить, повелитель, в каком виде мы увидим Черного Принца в эту ночь?

И снова блюдечко отвечало, танцуя по бумаге:

«Он войдет после того, как полная тишина водворится среди вас. И ты, девушка в белом, возлюбленная посредница наша между двумя мирами, живым и мертвым, не успеешь описать трех кругов вокруг себя рукою. На третьем круге послышатся шаги, дверь в коридор откроется, и Черный Принц войдет к вам в царской тиаре и виссоне... Вы услышите шаги его за минуту до появления Принца...»

– Ай, как страшно!.. – взвизгнула Малявка и прижалась всем телом к Лиде Воронской, чуя в ней одной найти защиту.

Но никто не обратил на нее внимания. Всех привлекала к себе в этот миг одна Лотос. Быстрым движением Елецкая поднялась на ноги и очутилась на табурете.

– Вы слышали?! Вы слышали?! – срывался с ее губ торжествующий клич, в то время как зеленые огни в глазах разгорались все ярче и ярче. Черные волосы струились из-под простыни вдоль стана. Синеватой бледностью покрылось и без того прозрачно-белое лицо. – Смирно стойте!. – продолжала она чуть внятно. – Сейчас он придет... явится сию минуту... Воронская, Пантарова, сюда! Я сейчас начинаю.

От девушки веяло какой-то непонятной, таинственной радостью. Ее огненные глаза точно притягивали к себе взоры. Они гипнотизировали, эти зеленые глаза, и Воронская



невольюно подчинилась на минуту их странной силе.

– Пойдем, Малявка, – сказала она своей соседке и, крепко взяла дрожащую девочку за руку.

Ольга все еще стояла на табурете, сверкала глазами, ставшими теперь почти безумными в их непреодолимом желании увидеть «Принца», увидеть как можно скорее, а ее помертвевшие губы шептали одно только слово:

– Явись!.. Явись!.. Явись!..

Потом она подняла руку и мерным, плавным движением обвела ею вокруг себя. Обвела раз, обвела в другой и в третий... Потом стала прислушиваться, подавшись всем телом вперед и вытянув шею.

– Я слышу шаги... – неожиданно сказала Рант.

– И я тоже... – прозвучал голосок черкешенки.

– Это он!.. – простонала помертвевшая от страха Додошка.

Шаги раздавались чуть слышно... Кто-то шел по коридору, таинственный и незримый.

– Боже!.. – не то стон, не то вздох вырвался из чьей-то груди.

Все замерли. Шаги приближались, крадущиеся, странные, точно неживые, шаги... Вот они ближе, еще ближе... Затихли, притаились за дверью.

Сердца у девочек бились так, что их, казалось, было слышно.

Лицо Воронской стало белее бумаги, но взор девочки был

смело устремлен прямо на дверь.

И вот чья-то костлявая рука, чьи-то длинные худые пальцы схватились за край двери. Дверь бесшумно подалась вперед, и на пороге умывальной показался длинный бледный призрак с закутанной наподобие турецкой чалмы головою.

– А-а-а!!! – завизжала Малявка и без чувств грохнулась на пол.

– Это он!.. – в тон ей закричала Додошка и, упав на колени, зарылась лицом в распластанную по полу шаль Елецкой.

– Вон!.. – резко выкрикнула Лотос, соскакивая с табурета и впиваясь дрожащими руками в костлявые плечи призрака. – Убирайся вон, безобразный фантом!.. Мы вызывали не тебя, а Черного Принца... Убирайся вон!.. Провались сквозь землю!.. Сгинь!.. Сгинь!.. Сгинь!.. – она изо всей силы выталкивала белое привидение за дверь.

Оно попятилось назад, отступило. Девочки онемели. Неожиданно белый призрак затряс головою, так что чалма соскочила с его головы, а белая фланелевая шаль – с плечей, и перед институт-ками предстала... фрейлейн Фюрст, их немецкая классная дама, с которой вот уже три года «старшие» вели непримиримую и жестокую войну.

В первую минуту фрейлейн Фюрст, или «шпионка», как ее называли воспитанницы за ее вечное подсматривание за ними, не могла произнести ни слова. Только нечто, похожее на ужас, отразилось в ее выцветших глазах. Потом ужас сменился гневом. И этот гнев должен был разразиться, подобно

грозе, над бедными головами юных спириток.

Дело в том, что «шпионка» только что вернулась из бани, едва успела обмотать мокрую голову полотенцем, а на костлявые плечи накинуть ночной пеньюар и фланелевую шаль. Услышав шум среди ночи, она пошла «дозором» по «старшему» коридору, выискивая беспорядок во вверенном ей помещении. И вот «охотничий нюх» – как выражались про нее институтки – не обманул немку. Ей удалось «накрыть» и поймать с поличным целую компанию. Да еще как накрыть!.. Как поймать!.. Со скандалом, с шумом, чуть не с боем!.. Ей, почтенной даме, фрейлейн Фюрст, наговорили дерзостей, ее вытолкали за дверь, ее называли так, как ни одна благородная девица не смеет позволить себе назвать свою классную даму!..

Немка словно зашлась... Ее лицо из красного стало багровым. Ее голова с мокрыми косицами жидких волос ходила, как маятник под часами. Но вот губы ее вытянулись вперед, показались желтые клыки зубов, и она загремела:

– Очень хорошо... Завтра же все будет известно тамап... Все будут наказаны... Besonders<sup>7</sup> вы, Елецкая... О... вы мне нагубили, вы меня чуть не прибили... Вы будете исключены... Или вы, или я!.. Jawohl!..<sup>8</sup> Нам вместе не бывать под этой крышкой...

Костлявый палец «шпионки» величественным жестом

---

<sup>7</sup> Особенно.

<sup>8</sup> Да!

указал на потолок.

Последняя фраза показалась Воронской, несмотря на весь ужас положения, почему-то крайне комичной, и девочка чуть слышно фыркнула.

Мгновенно немка обрушилась на нее.

– Ага, вы еще смеяться!.. Шкандал такой, а им смех! Sehr gut!<sup>9</sup> Всем пять за поведение, и всех выпустят без аттестата... А теперь марш спать! Завтра разберем все до нитки!

– Какие тут нитки! Пантаровой дурно... – не сдерживая уже себя более, проговорила Воронская.

– Не грубить! Спать!.. Акуля! Акуля! – неистовствовала немка. – Просыпайтесь, Акуля, просыпайтесь и несите m-lle Пантарову в лазарет! – тормозила она сладко спавшую девушку. Та, потягиваясь и позевывая, села на постели и не могла понять, что собственно требовалось от нее. Наконец, кое-как уразумев суть дела, Акуля, богатырского вида девушка, смущенная не менее самих воспитанниц присутствием классной дамы и «барышень», оделась, подняла с пола бесчувственную Малявку и бережно понесла ее в лазарет на своих сильных крестьянских руках.

– Вот что вы наделали, – зло шипела фрейлейн Фюрст, – полюбуйтесь на дело рук ваших!.. Чем вы здесь занимались? – напустилась она на девочек. – Что это за платок, что за блюдце и... и, Елецкая, почему вы бросились на меня? Вы будете мне отвечать или нет?..

---

<sup>9</sup> Очень хорошо!

– Уходите! – вдруг выкрикнула Елецкая. – Вы испугали Черного Принца! Он из-за вас не пришел. Не пришел... О-о-о! И все из-за вас! – рыдала она.

– Ага! Грубить! Еще грубить. О... Sehr gut! Sehr gut! В лазарет! – взвизгнула немка. – Вы больной представляетесь, чтобы избежать наказания... Я вас знаю... Но мы будем посмотреть еще, кто останется, я или вы, вы или я...

– Или мировой судья! – хладнокровно отозвалась Воронская и, подойдя к Елецкой, чуть слышно шепнула ей:

– Ступай, Ольга... Не драться же с нею, прости Господи... Ступай в лазарет. А мы завтра все сообща решим что делать. Не бойся, не выдадим тебя.

– Что вы шепчетесь, сейчас говорите мне, Воронская... – так и вскинулась ястребом на Лиду фрейлейн Фюрст.

– Ничего особенного, фрейлейн. Я только сказала Ольге, что если у нее болит живот, пусть попросит капель Боткина у фельдшерицы.

– Ага! Так-то!.. Gut!.. Завтра все ваши дерзости будут известны маман, все до капли, а теперь... Legen sie sich alle schlafen.<sup>10</sup> А вы, Елецкая, марш за мною в лазарет.

И, зловеще потрясая мокрыми косицами, фрейлейн Фюрст величественно выплыла из умывальной, таща за собою оцепеневшую Ольгу, разом поблекшую, как блекнет после бури завядший цветок.

– Бедная Елецкая!.. – проговорила черкешенка.

---

<sup>10</sup> Ложитесь спать все.

– Мы ее выгородим, не бойся, – заверила ее Воронская.

– Лида, Вороненок, пусти меня лечь с тобою. Я боюсь, что Черный Принц все-таки явится сегодня, – стонала Додошка, уцепившись руками за руку Воронской.

Перестань, трусиха, – рассердилась та, – сколько раз говорить тебе, что никакого принца нет, не было и не будет.

– Как нет? А стихи? А блюдечко? А разговор духов? – послышались взволнованные голоса.

– Ха, ха, ха! – беспечно расхохоталась Лида. – Стихи сочинила я. Разве я не имею права справедливо считать себя поэтессой класса? Они, к сожалению, только не совсем верны географически, ибо Тигр и Евфрат никоим образом не протекают по Гренаде и булочной Филиппова там тоже нет. Их сочинила я, и в этом готова поручиться своею головою. Надеюсь, вы не откажете мне в доле поэтического дарования, сестрички?

– Ну-у-у? – протянули девочки разочарованно. – Вот оно что, а мы думали и правда! Ах, как это все прозаично и скучно объясняется, и зачем только ты поступила так, Лидка!

– А блюдечко толкала Елецкая, я сама видела, – не давая опомниться юным спириткам, нанесла им новый удар Воронская.

– Неужели правда? Но какая же лгунья Елецкая после всего этого! – возмутились те.

– Лгунья!.. Обманщица!.. Дрянь Елецкая, как долго она водила нас за нос! – негодовали возмущенные члены союза

Таинственной лиги.

– Нет, неправда, я заступлюсь за Ольгу! Она не лгунья и не обманщица! Нет! – сказала Бухарина. – Она сама свято верила в свои сеансы, она была далека от обмана, – горячо и страстно говорила Зина. – Она не замечала, как нервно двигались ее пальцы и незаметно толкали блюдце каждый раз... О, как она должна быть несчастна сейчас! Бедная Лотос! Бедная Елочка! – и при этой заключительной фразе две слезинки выкатились из добрых немного выпуклых глаз «креолки».

– Вы слышали, mesdam'очки, Фюрстша сказала: или я, или она! – послышался снова голос Черкешенки.

– Успокойся, Гордская, милая. Мы выручим ее. Я еще не знаю как, но выручим непременно. Надо поговорить только с Большим Джоном, когда он придет, – успокоила Лида.

– Да, да, с Большим Джоном! С Большим Джоном! – подхватили девочки хором. – А теперь спать, mesdames, спать, душки. Утро вечера мудренее.

## ГЛАВА 3

# Новость. – «Первые» приуныли. – Додошка хочет странствовать. – Серая женщина. – Большой Джон в роли проповедника. – Бунт

Веселое мартовское утро так и просится в комнату. Сквозь чисто вымытые, по-весеннему нарядные окна класса заглядывает ласковое солнце. Лучи его, словно тонкие золотые иглы, живые и быстрые, играют на черных классных досках, на географических картах, на круглом и громадном, как голова великана, глобусе «сфере», на темной клеенке кафедры, на длинном ряде пюпитров и на черных, русых, рыженьких и белокурых головках девочек.

Тих сегодня этот класс, серьезные обычно веселые, болтливые девочки. Точно грозовая туча повисла над старшим, «выпускным» классом. Точно буря-непогода разразилась.

Еще утром, после молитвы и чая, выпускных водили в квартиру начальницы.

«Маман» – высокая, полная, представительная женщина в синем, скрипучего шелка платье и ослепительно-белой наколке на голове – встретила воспитанниц на пороге «зеленой» приемной. Ее обычно доброе лицо было сурово.



– Вы ведете себя непозволительно дурно, – гремел на всю комнату звучный голос начальницы, – вы позволяете себе по ночам тихонько вставать с кроватей, выходить в умывальную и там заниматься тою глупостью, которой занимаются только невежественные, легковверные люди. Какие-то нелепые сеансы, вызовы духов, которые никаким образом не могут являться к людям! Возмутительнейшее отношение к вашей классной даме, которой вы нагубили! Кроме того, одна из вас, Елецкая, позволила себе вытолкать всеми уважаемую воспитательницу из умывальной комнаты... Эта Елецкая, по ее же собственному признанию, была вашим жоаком в некрасивой, смешной и глупой истории. Она смущала вас всяким вздором, учила веровать в какую-то несуществующую силу и, к довершению всего, в ее ящике нашлись романы о том же вымышленном мире духов, романы, которые были запрещены мною для чтения. Все это непозволительно, но непозволительнее всего ее поведение по отношению к вашей наставнице, фрейлейн Фюрст. Оно просто ужасно! Такое поведение не может быть терпимо в стенах нашего учебного заведения, и Елецкая завтра же покинет институт. Мы исключаем ее. А вы, все прочие, в своих аттестатах получите по сбавленному баллу за поведение.

И тапан удалилась в свои апартаменты, а понурые, уничтоженные неожиданным оборотом дела девочки побрели в класс.

Елецкую жалели до слез, и не так саму Елецкую, как ее

престарелую мать. Бедная, пожилая, болезненная женщина жила на крохотную пенсию после смерти мужа, мелкого чиновника. Она души не чаяла в дочери и ждала с нетерпением выхода своей ненаглядной Олюшки из института, ожидая обрести в ней друга и помощницу. И вот случилось такое несчастье с Ольгой: «начальство» института, решило исключить ее.

До завтрака в первом классе насчитывалось три урока: Закон Божий, педагогика и «пустота». Пустотой назывался тот час, в который не являлся учитель, и когда девочек отправляли упражняться на роялях в маленьких музыкальных комнатах, прозванных «номерами» и «сельюлками».

Батюшка, отец Василий, молодой священник в нарядной шелковой рясе, сразу заметил гнетущее настроение выпускных. Он спросил у дежурной Эльской, отчего так печальны девицы и не произошло ли какого несчастья, на что Сима отвечала:

– Да ничего особенного, батюшка. Девицы колдовали нынче ночью. Елецкая духов вызывала, чуть в трубу, как ведьма, не вылетала, ну, ее и исключают из института, а нам ее жаль.

– Ах, девицы, как же не стыдно, право! Колдовство это противно закону Божию, – произнес, качая головой, батюшка и затем присовокупил: – а вы, девица Эльская, насчет трубы... не хорошо-с, барышня... Духовнику так не отвечают... И смеяться таким образом не подобает.

– Ей все смешно, батюшка, – негодуяюще крикнула Дебицкая, – у нас Елочку исключают, а она смеется! Бездушная какая-то!

– А по-твоему, я плакать над вашей порченной Ольгой должна, что ли? Она вас всех подводит только, а вы ее еще защищаете! – размахивая руками, кричала Сима.

– Эльская... Still!<sup>11</sup> – заметила вышивавшая что-то по канве у окошка Фюрст и погрозила костлявым своим пальцем.

– Какой тут штиль, когда буря в воздухе!.. – пожалала плечами Сима и со всего размаха плюхнулась на свое место.

Батюшка открыл классный журнал и вызвал одну из учениц.

Разумеется, урок отвечали вкось и вкривь. Было не до уроков. Елецкая не выходила из головы. Кроме того, все последнее время выпускные занимались довольно небрежно, к чему, впрочем, преподаватели относились снисходительно, так как учиться оставалось всего лишь одну неделю и с первых чисел апреля начиналась серьезная подготовка к последним актовым экзаменам. Но в этот день, вследствие ночной истории, окончательно взвинтившей непокорные нервы институток, урок был вовсе не повторен, и отцу Василию оставалось разве только покачивать головою и усовещивать:

– Нехорошо, девицы, нехорошо! Перед преосвященным осрамитесь. Да и меня подведете тоже. Нехорошо, барышни, право, нехорошо!

---

<sup>11</sup> Тихо!

Но «барышни» мало внимали увещаниям своего духовника. Умы были заняты иными мыслями. «Что-то Ольга? Что она делает, бедняжка, запертая на ключ в лазаретной комнате? Каково-то ей?» – думала каждая из этих впечатлительных, одинаково отзывчивых на доброе и необдуманное, экзальтированных девочек.

Облегченно вздохнули они, когда прозвучал звонок, возвещающий окончание урока. Ушел, мягко шурша шелковой рясой, батюшка, и жужжа, подобно пчелиному рою, выбежали из своего класса выпускные, то и дело «окунаясь», то есть приседая, в коридоре перед начальством, «чужими» и «собственными» учителями, попадавшимися им на пути.

Кое-кто бросился с хрустальной миниатюрной кружечкой в «колбасный переулок» пить из исполинского фильтра кипяченую воду.

«Колбасный переулок» был маленький коридорчик, в конце которого находился младший седьмой класс. За какие достоинства или провинности его прозвали колбасным – этого никто из воспитанниц не мог объяснить, точно так же, как не могли объяснить происхождение прозвища «мертвой долины» – небольшой площадки на лестнице между вторым и третьим этажами, сделанной в виде полукруга, в центре которого помещались огромные настенные часы. Площадка же следующего этажа была церковная паперть, но называлась она «долиной вздохов», так как отделяла старшую дортуарную половину от младшей, и здесь маленькие институтки,

«обожавшие», по неизменным старинным традициям, старших, поджидали, вздыхая, своих кумиров, прогуливавшихся на паперти и по дортуарному коридору.

Но вот снова продребезжал звонок, призывающий в класс. Дежурная классная девушка Даша вихрем пронеслась с одного конца института на другой, неистово тряся колокольчик. Старшие вошли в класс, когда там уже сидела преподавательница педагогики, m-me Мель, полная седовласая француженка, отлично говорившая по-русски, но тем не менее заставлявшая учить педагогику на своем родном языке. Задавала она всегда добросовестно по несколько страниц к уроку и требовала точных, почти дословных, сведений; поэтому «зубрилки» предпочитали вызубрить педагогику наизусть, а лентяйки почти вовсе и не знакомились с этим предметом, тем более что из «принципа» великодушия m-me Мель никогда не ставила менее «семи». Семерка же считалась «баллом душевного спокойствия», и получавшая семерку воспитанница могла свободно переходить из класса в класс.

Урок педагогики m-me Мель начала в этот раз торжественно.

– Eh bien, mesdames, c'est aujourd'hui que nous avons notre dernière leçon,<sup>12</sup> – с пафосом возвестила она с кафедры. – В следующий четверг вас распустят, – прибавила она на чистейшем русском языке, – et vous allez subir vos examens...

---

<sup>12</sup> Вот, mesdames, сегодня у нас последний урок.

Et aujourd'hui nous aliens finir notre cours pedagogique.<sup>13</sup> М-лле Даурская, что вы знаете о воспитании духа восприимчивости в ребенке? Repondez-moi en francais,<sup>14</sup> – неожиданно заключила свою коротенькую речь француженка.

Додошка лениво поднялась с места и угрюмо пробурчала.

– Я не готовила, m-me Мель, урока на сегодня.

– Mon Dieu! – ужаснулась француженка. – Mais c'est ma derniere lecon aujourd'hui!<sup>15</sup>

– Не готовила его, – печально повторила Додошка.

– В таком случае расскажите предыдущий.

– Не знаю предыдущего. – Даурская склонила голову набок и унылым взором обвела класс.

– Mais enfin repondez-moi quelque chose, ce que vous savez!<sup>16</sup> – теряя обычное хладнокровие, вспыхнув, проговорила учительница.

– Ничего не знаю! – самым невинным тоном созналась Додошка. – Ей-Богу, честное слово, не знаю ничего!.. Я педагогики не учу. Мне педагогики не надо. Я замуж не пойду, своих детей у меня не будет, чужих учить тоже не стану... Ясно, как шоколад... Буду ходить, весь мир исхожу вдоль и поперек, из города в город, из деревни в деревню. В карманы

---

<sup>13</sup> И вы будете держать экзамены. Сегодня же мы закончим наш курс педагогики.

<sup>14</sup> Ответьте мне по-французски.

<sup>15</sup> Ах, Боже мой, ведь я сказала вам, что сегодня мой последний урок!

<sup>16</sup> Так ответьте наконец что-нибудь, что вы знаете!

леденцов, пирожков наберу, немножко хлеба, ветчины, и хожу себе да похаживаю. Хорошо! Никто не лезет, не пристаёт, отдохну, покушаю и опять в путь. А для этого педагогики не надо. Зачем мне она?

И, говоря это, Додошка сузила свои и без того маленькие глазки и облизнула губы со своим обычным видом всем довольного котенка.

– Mais je vous mettrais six pour tout ça!<sup>17</sup> – окончательно вышла из себя «педагогичка».

– Поставьте хоть двойку – все равно в последнем классе не оставляют. Не полагается. А странствовать мне никто не запретит, – с торжеством заявила Додошка, усевшись на место, вынула из кармана леденец и принялась его сосать с самым безмятежным видом.

С m-me Мель положительно делалось дурно. Такая ученица, как Даурская, могла с успехом подорвать ее преподавательскую деятельность в стенах института, и она решила во что бы то ни стало просветить Додошку на поприще педагогики, чтобы она не осрамилась в пух и прах на экзамене.

Даурскую поручили Дебицкой, первой ученице, и девочки должны были готовиться к экзамену педагогики сообща. Так решила m-me Мель и успокоилась на этом, вызвала трех воспитанниц, добросовестно отрапортовавших ей наизусть заданные страницы.

Наконец раздался столь желанный звук колокольчика,

---

<sup>17</sup> Но я вам поставлю шесть за это!

и почтенная преподавательница длинной речью закончила свой последний урок.

В этой речи говорилось и о великом значении педагогики для каждой женщины, и о великой роли матери и воспитательницы детей. Сравнив детей с тепличными растениями и цветами, требующими бдительного ухода, m-me Мель выразила надежду видеть своих учениц на высоте призвания их педагогической деятельности и, пожелав им счастливой сдачи экзаменов, вышла из класса.

Почти следом за нею, наскоро похватав свои «мюзики», то есть папки с нотами, выбежали из класса «музыкантши», спешившие в «селюльки» повторить гаммы и пьесы к следующему дню.

Лида Воронская сидела в крошечной комнатке, добрые две трети которой занимал небольшой рояль и, перебирая тонкими пальцами клавиши, думала обо всем происшедшем в ее классе вчера и сегодня. Ей было жаль Елецкую и в то же время досадно за нее. Вспомнив об Елецкой, Лида снова задумалась о той таинственной, сверхъестественной силе, которой поклонялись ее подруги и в которую не могла и не хотела поверить она сама. Впечатлительная, но трезвая в своих взглядах, девочка не любила ничего недоговоренного, неясного и требовала объяснения здравого смысла на каждый свой умственный запрос. Ей были и сейчас смешны их классные «спиритки» в зеленых камлотовых платьях. Смешна и жалка Елецкая в роли «медиума», смешны ее сообщни-



цы, охотно поддающиеся влиянию экспансивной подруги.

Им постоянно «виделись» какие-то видения, снились странные сны и слышалось нечто такое, чего не виделось и не слышалось ей, Лиде.

«И хоть бы раз привиделось мне что-либо подобное! А то никаких со мной чудес не происходит», – сокрушенно подумала девочка и... неожиданно вздрогнула и покраснела. Легкое, как смутный сон, воспоминание всплыло в памяти.

Ей вспомнилось, как не раз в трудные минуты жизни ей являлся загадочный призрак серой женщины, предостерегавшей ее от необдуманных поступков в детстве.

Вспомнила Лида, как часто она задавала себе вопрос, кто эта странная «серая женщина», как взывала она к ней в трудные минуты жизни, и как боялась другой раз появления призрака.

Когда, сдружившись со своей мачехой, ставшей ей близкой и дорогой, девочка рассказала ей про эти свои видения, мачеха пояснила Лиде, что «серая женщина» есть плод ее фантазии, игра зрения и слуха, и тут же попросила падчерицу припомнить, не рассказывал ли ей о серой женщине кто-либо. Девочка тогда же напрягла свою память и вспомнила... Действительно, ее покойная тетя Юлия, склонная ко всему таинственному, разговаривала как-то со своими сестрами, не заметив присутствия племянницы, тогда еще четырехлетней малютки, о разных таинственных явлениях и о серой монахине, неожиданно очутившейся будто бы у колы-

бели Лиды в первый же день появления ее в мир. Этот рассказ о таинственном сером призраке запал в душу девочки. И теперь, сидя в маленькой «селюлке» и перебирая клавиши рояля, Лида припоминала эпизоды с серой женщиной, все до мелочей.

«Ну, разумеется, все это вздор и пустяки. Ничего таинственного, страшного нет на свете, и жаль бедняжку Елецкую, она так поплатилась за свое увлечение мистикой», – вслух проговорила девочка и, взглянув на часики, прикрепленные небольшим никелевым бантом у нее на груди, под пелеринкой, вскочила с табурета и спешно принялась убирать ноты в «мюзик». – Сейчас звонок к завтраку, потом прием, и я увижу Большого Джона. Тра-ля-ля-ля-ля! Тра-ля-ля-ля! – тихонько напевала и радовалась она. Потом захлопнула крышку рояля,хватила «мюзик» и, осторожно выйдя из номера (так как час музыки еще не кончился, а выходить до его окончания из «селюлки» было строго запрещено), открыла дверь в коридор.

Открыла и тихо вскрикнула, исполненная волнения и трепета.

У стены полутемного, чуть освещенного дальним окном коридора стояла высокая женщина в сером с серым же капюшоном, наброшенным на голову и скрывающим ее лицо до самых глаз.

Лида взглянула еще раз, желая воочию убедиться, потом еще раз и еще... Сомнения больше не было: это была «серая

женщина»... Эта было «она»...

\* \* \*

Это была «она»... Темные пронизательные глаза серой женщины смотрели прямо на Лиду. Казалось, неопишущая грусть глядела из этих глаз. Часть лица, выглядывавшего из-под капюшона, была покрыта тою синеватой бледностью, которая наблюдается только у мертвецов. В опущенных руках, бессильно, как плети, повисших вдоль тела, тоже не было ничего живого. Очевидно, это был призрак, страшный и таинственный призрак. И при виде его сердце сероглазой девочки замерло.

Несколько секунд Воронская стояла, не шевелясь. Потом решительно двинулась вперед, быстро миновала пространство, отделяющее ее от серой женщины, и, почти в упор приблизившись к ней, молча уставилась на нее широко раскрытыми, вопрошающими глазами.

Серая женщина моментально отделилась от стены. От этого легкого, но быстрого движения соскользнул серый капюшон с ее головы, и из-под него показалась седоватая голова, бледное, без кровинки, лицо и темные тоскующие глаза.

– Вера Александровна! – прошептала Лида. – Ради Бога, простите! Я не узнала вас.

– Мудрено узнать, – горько проговорила женщина, – я нарочно накинула капюшон на голову, чтобы никто не видел

моего заплаканного лица. Я сейчас от моей Олюшки. Вы знаете, она заперта в лазарете. В наказание заперта. Баронесса-начальница мне сейчас сказала, что завтра же я должна взять Олюшку домой. Ее не будут держать в институте ни одного дня больше. Ее исключают. О, какое это горе для нас обеих.

– Завтра!.. Боже мой!.. – эхом отозвалась Воронская.

– За что?.. За что?.. – повторяла Вера Александровна Елецкая, мать Оли. – Как жестоко все это!.. Моя Олюшка – доброе, тихое дитя... Она только увлекается, фантазирует не в меру... В ущерб учению зачитывается всякими романами... Спиритизмом занимается... А я и не знала... Моя Олюшка скрывала это от меня. А теперь, теперь... гонят... Ее, мою роднушу, гонят... Воронская, голубчик мой, вы не знаете, мы ведь бедны, мы почти нищие... Олюшке аттестат нужен, чтобы поступить на место. Без аттестата об окончании курса и думать нельзя на службу идти. О, Господи, да ведь умрет она с голоду, моя Олюшка!.. Деточка моя, ведь не прокормить мне ее на мою пенсию!.. Ведь сама впроголодь живу!.. Никто не знает, не догадывается... И сама Олюшка тоже. Я скрываю от деточки моей... Зачем смущать ее, родную... А тут вдруг, о, Боже!.. Боже!.. За что Ты наказуешь меня?

И всплеснув руками, она глухо, неудержимо зарыдала.

Из глаз девочки брызнули слезы. Но Лида живо справилась с собою.

– Надо действовать, надо действовать!.. – застучало невидимыми молоточками ее отзывчивое на чужое горе сердечко.

«Слезами здесь не поможешь, – решила она. – Бедная, несчастная мать Елецкой! Как бы ее успокоить сейчас? Хотя на время только... А там действовать энергично, смело и во что бы то ни стало отвести Лотос от беды. Ах, Ольга, Ольга!.. Сколько горя и муки принесла ты, Лотос, бедненький таинственный медиум несуществующего Черного Принца!..»

Лида коснулась холодных, как лед, пальцев Елецкой.

– Не плачьте... Ради Бога не плачьте... Все кончится прекрасно... Ольга не будет исключена... Даю вам слово, честное слово Лидии Воронской... – проговорила она звонким, бодрым голосом и, прежде чем Елецкая-мать могла сказать что-либо, она наскоро «окунулась», то есть присела перед ней, и вихрем понеслась по коридору, широко размахивая папкой «мюзик» над своей стриженной головой.

Завтрак прошел уныло и тускло, как прошли и все первые уроки этого печального дня. Лида сидела как на иголках и захлебывающимся шепотом рассказывала «своему столу» о только что происшедшей встрече с матерью Елецкой.

Рассказ подействовал, и едва ли хоть одно сердце не жжалось от боли за бедную мать, трепещущую за судьбу своей любимицы-дочки.

– О, скорей бы позвали на прием! Скорее бы пришел Большой Джон! Он придумает, что надо делать. Посоветует... скажет... О, я в этом уверена... Он все может переделать,

поправить он настоящий добрый волшебник! – горячо восклицала Лида, ожидавшая с нетерпением окончания завтрака, к которому она и не прикоснулась в этот день.

Наконец, злополучный завтрак, грозивший продлиться чуть не целую вечность, был окончен.

Дежурная старшая прочла молитву, выпускные повторили ее хоровым пением, «шпионка» хлопнула в ладоши, и воспитанницы поднялись из столовой в класс.

– М-ле Воронская, вас в приемную просят. К вам пришли, – просунув вздернутый носик в щелку двери старшего класса, пискнула дежурная по приему «шестушка», в красноречивом взгляде которой сияло самое непритворное, восторженное обожание по адресу Воронской.

– Это Большой Джон! – Лида опрометью, наперегонки с «шестушкой», бросилась по коридору в залу.

Среди других посетителей и посетительниц стоял высокий широкоплечий человек.

– Большой Джон! Наконец-то! Как я рада, как я рада! – искренне вырвалось из груди Воронской.

Джон Вильканг взглянул на своего юного друга.

– Маленькая русалочка, покажите-ка мне ваши глазки. Ба! Да они, кажется, стали зелеными из темно-серых. Это значит, что мы плакали сегодня. Не правда ли, маленькая русалочка? Мы плакали? Да? О, я это знаю отлично, потому что я помню, как четыре года тому назад серые глазки точно так же делались зелеными после слез...

Лиде было как-то стыдно сознаться в своем малодушии перед ее взрослым другом.

«Слезы?.. Фи, слезы!.. Разве слезы это ее, Лидин, удел?»

Но скрыть что-либо от Большого Джона было невозможно.

И вот Большой Джон узнал о странных и загадочных событиях, случившихся в этот день в институте.

Прежде всего из рассказа Лиды Большой Джон узнал, что вечером, вернее ночью, у них, у выпускных, был сеанс. Говорил с ними сам калиф Гарун-аль-Рашид, повелитель арабов... Были стихи... «Его» стихи, духа, да собственно говоря, не духа, а ее, Лидины, стихи, но их наивно приняли за слова духа, хотя в них фигурировали сушки и колбаса с чесноком... Но это все не суть важно... А главное, вызывали Черного Принца... Черный Принц обещал прийти но вместо него явилась «шпионка»... Ее вытолкала Лотос, или Елочка, девочка с русалочьими глазами, похожая на индийский цветок... А потом... потом Елецкую заперли в лазарет, наказали, выключают... У нее мать, она плачет, она в отчаянии... Если Ольгу выключат, им нечего будет есть... А выключат непременно, потому что «шпионка» сказала: «или она, или я»...

И голос Лиды дрогнул при этих словах, глаза зазеленели еще больше и наполнились слезами.

Большой Джон рассмеялся.

– Колбаса... сушки... шпионка... Лотос... Черный Принц

и Гарун-аль-Рашид... Целый фейерверк имен и событий!.. Надо быть очень толковым парнем, маленькая русалочка, чтобы понять весь этот винегрет, – произнес он, смягчая насмешливость слов подкупающей улыбкой.

– Но вы все-таки поняли, Большой Джон. Вы поняли. Я это вижу! – произнесла девочка, глядя в его глаза с упованием и надеждой. – Ведь вы добрый волшебник. Вы должны понять все, все!

– Я добрый волшебник! – пробасил загробным голосом Джон и округлил глаза, заставив расхохотаться собеседницу. – Да, я добрый волшебник, и чувю, что от меня требуют совета, как избавить от беды некую легкомысленную девицу, которая...

– Вот, вот именно это требуется от вас, милый, дорогой Большой Джон! – подхватила окончательно развеселившаяся Лида. – И я позову сейчас всех моих подруг, так как у нас заведено «правило товарищества», которое нарушить никак нельзя, и мы всегда действуем сообща во всех важных вопросах жизни. Мы советуемся всем классом, и единоличные решения у нас строго запрещены... Я сию минуту позову их всех, Большой Джон...

– Но их немного, по крайней мере, маленькая русалочка?.. – с деланным испугом спросил молодой человек.

– О, немного, успокойтесь, Большой Джон... Всего сорок человек... Разве это много?.. – серьезно спрашивала девочка.



– Но не будет ли это похоже на поход амазонок против некоего мифологического чудовища? – И Большой Джон стал с тем же комическим испугом на лице растерянно оглядываться кругом.

– Что вы так смотрите, Большой Джон?

– Я опасаясь, что не хватит скамеек посадить всех ваших подруг, маленькая русалочка, только и всего.

– О, Большой Джон! Что значит сорок человек перед двумястами семьюдесятью пятью воспитанницами, находящимися в институте?! Но не в этом дело, голубчик... Они, то есть мои подруги, уже приглашены мною еще вчера и сейчас придут... Вот видите, в дверь уже заглядывает Додошка.

– Додошка – это собачка? – поинтересовался Джон.

– Да нет же, нет!.. Говорят вам – это институтка! – с улыбкой поправила своего друга Лида и стала подавать знаки Додошке, просунувшей голову в дверь зала.

Увидя знаки Воронской, толстенькая Додошка вкатилась в зал, «окунулась» перед Джоном чуть ли не до пола и усеялась подле Лиды на скамейку.

– Рант, Живчик, Черкешенка, Хохлушка и Малявка идут следом за мною, – выпалила она.

– И «Малявка» тоже институтка? – снова заинтересовался Большой Джон, только что с комической важностью расшаркавшийся перед Додошкой.

Ему не успели ответить, так как в залу вошла Рант.

Болезненная Рант не выезжала далее Знаменской улицы и

Большой Дворянской, где жили ее родные, и не мудрено, что человек, видевший своими собственными глазами Хеопсову пирамиду и великого сфинкса пустыни, казался ей каким-то сверхъестественным существом. Она пресерьезно поклонилась «в пояс» Большому Джону, как кланялись только архиерею и институтскому батюшке, не решаясь «окупаться» перед ним как перед «обыкновенным» посетителем, и благоговейно заняла кончик скамьи. После Рант появился с добрый десяток выпускных сразу. За ними еще пять... Еще и еще... Даже степенная Бутузина и меланхоличная Старжевская, самые незапятнанные «тихони» и «парфетки», на институтском жаргоне лучшие по поведению воспитанницы, не устояли против желания повидать «восьмое чудо света», как они тайком называли между собой Большого Джона.

Вскоре весь класс выпускных очутился в зале и тесным кольцом окружил гостя.

Большого Джона усадили, принесли еще скамью и разместились на ней зелено-белым роем. Додошка с Симой Эльской предпочли взгромоздиться на рояль, откуда, однако, они были тотчас же низвергнуты подоспевшей «шпионкой». У нее покраснелись ее впалые щеки и заалел кончик носа, что случалось с ним всегда в минуты бурного волнения.

– Mesdamoiselles!.. Что это такое?.. С какой стати вы собрались?.. Зачем так много сразу?.. Воронская, кто к вам пришел?.. Отвечайте. Werde ich endlich Antwort

bekommen?<sup>18</sup>

Но ее никто не слышал. И мысли, и глаза, и уши были напряженно заняты теперь одним только Большим Джоном, голова которого препотешно выглядывала из-за белой стены белых пелеринок и зеленых платьев.

– Wer ist dieser Herr? Wer ist dieser Herr? Bitte, antworten sie doch!<sup>19</sup> – продолжала отчаянно взывать «шпионка», то туда, то сюда просовывая свою маленькую головку с выцветшею косицей заложенных «крендельком» на темени волос.

– Ах, фрейлейн! – вышла из себя Сима Эльская. – Чего вы беспокоитесь, право. Ведь это брат Воронской – миссионер. Он только что приехал из Америки, где обратил в христианство целую толпу краснокожих дикарей, – и она взглянула на «шпионку» победоносно уничтожающим взглядом.

– О!.. – только могла сказать потрясенная неожиданной новостью «Фюрстша» и поспешила поделиться ею с другой классной дамой младшего класса, тоже дежурившей на приеме в этот день.

– Ну, я нашего аргуса сплавила, – торжествуя заявила Сима, – долго не сунет к нам теперь носа, а вы, monsieur Большой Джон, говорите скорее, что нам делать для спасения этой глупышки Елецкой... Вы знаете? Лида вам все сказала? Как же нам спасти ее?

– Да, да, как ее спасти, говорите же, monsieur Большой

---

<sup>18</sup> Получу ли я, наконец, ответ?

<sup>19</sup> Кто этот господин, кто этот господин? Прошу, ответьте же, наконец!

Джон, говорите скорее! – разом подхватили взволнованные голоса сорока воспитанниц.

Большой Джон как нельзя лучше понял своих юных друзей. Обычная шутка застряла у него в горле, насмешливый огонек потух в его глазах, и Большой Джон заговорил:

– Дело трудное, не скрою, но ничего нет невозможного на свете, mesdames, дорогие подруги маленькой русалочки! Вы все, а не одна Елецкая, – так, кажется, я называю ее, – виноваты во всем происшедшем, а посему будет справедливо, если вы все разделите с нею вашу вину, возьмете эту вину на свои плечи, так как это ваш общий проступок, не правда ли, мои друзья? Вы сами поддерживали нелепую фантазию Елецкой, вы сами поджигали ее. Словом, виноваты вы все и все вы пойдете к вашей начальнице (не знаю имени и отчества сей почтенной дамы) и скажете ей приблизительно следующее: «Простите Елецкую, не исключайте ее. Мы все виновны, но она одна, бедняжка, пострадала, и чтобы искупить нашу вину, мы охотно принесем какие угодно жертвы». А именно, ввиду скорого выпуска, пускай медалистки и другие подлежащие наградам воспитанницы откажутся от сих почетных знаков отличия; девицы же, не получающие никаких знаков отличия, пусть дадут слово выдержать все экзамены так, как будто за это их ожидают награды... Засим, так как почтенная дама в синем платье сказала, либо она, либо провинившаяся Елецкая выйдут из института, надо пойти к почтенной даме в синем платье и испросить, а понадобится,

так и вымолить у нее прощение за все, дать ей слово, смиренное и кроткое слово добродетельных девиц в том, что ни одна из вас не позволит быть с нею впредь резкой и строптивой, а отныне все всячески будут стараться быть ласковыми и добрыми к ней.

– Ласковыми и добрыми к «шпионке»? Ну уж, это дудки! – запротестовала Додошка.

Но на нее тотчас же зашикали:

– Даурская, пожалуйста, замолчи! Если monsieur Большой Джон говорит, то, значит, так и надо поступить. Другого выхода нет.

– Будем думать чужими головами, если свои не работают, – засмеялась Сима Эльская. – А впрочем, поклонимся и «шпионке», если этим спасем Елочку. Я готова на все, за компанию, конечно.

Между тем фраза, брошенная Симой о приезде миссионера из дикой Америки, возымела самые неожиданные последствия для институток.

Маленькая «шестушка», проходя мимо, услышала эту фразу. Огромная же толпа, образовавшаяся подле одного из посетителей приема, не могла не броситься в глаза всем находившимся в зале. Многие родители и родственники «выпускных» воспитанниц, приехавшие в этот день на «прием», тщетно поджидали своих дочурок, сестер, племянниц и внучек, тогда как все они теснились вокруг высокого молодого человека.

Все это не могло не поднять суматохи в доселе мирных стенах института.

«Шестушка», услышавшая весть о миссионере, пулей влетев в свой класс, вскочила прямо на кафедру.

– Медамочки, душки! – закричала она благим матом, точно в институте начался пожар. – К Воронской из Америки индеец приехал! Сидит на приеме. Красный, как медь, а сам, медамочки, с голою грудью и за ухом перо, а в ноздрях сережки... Не верите?... Сама видела!

– Варкина, что ты врешь, глупая? Не индеец вовсе, а тот, кто крестит индейцев, миссионер, священник, значит, приехал, а ты все напутала. Я сама слышала, медамочки, как Эльская говорила это «Фюрстше», – вмешалась другая «шестушка». – У него и хитон белый, как у католических священников, и крест на груди преогромный, – с жаром передавала она.

– Дурочка! Хитон у греков был только, а у священников риза, – поправил ее кто-то из подруг.

– Mesdames, что у вас за шум сегодня? – В класс заглянули несколько любопытных воспитанниц пятого класса.

Им наскоро объяснили в чем дело, и через несколько минут «пятые» уже мчались в свой класс, где объяснили своим, что у Воронской сидит архиерей на приеме, только не наш, а индейский, и что у него тюрбан на голове, а вся спина растатуирована красками, и вскоре бежали во весь дух в приемный зал рассмотреть хорошенько диковинного гостя. Ту-

да же устремились и взбудораженные «шестушки», наскоро сообщив другим классам, что на приеме у Воронской сидит самый знаменитый вождь и духовное лицо индейцев. Затем они шумною волною, целым классом, хлынули в зал, чуть не опрокидывая по дороге дежуривших классных дам и пепиньерок. За ними побежали пятые, четвертые, третьи и вторые. «Седьмушки» тоже было высунули из-за дверей «колбасного переулка» свои любопытные носики, но их энергичная блюстительница порядка в синем платье подняла рев, и пугливое маленькое стадо снова водворилось в «детскую» – как называли старшие воспитанницы младший класс.

Большой Джон, нимало не подозревая о совершившемся по его милости переполохе, покончив с делом спасения Елецкой, по просьбе своих новых сорока друзей уже рассказывал им различные случаи из своего недавнего путешествия по свету. В пылу рассказа молодой человек и не замечал, что число его слушательниц увеличивалось с каждой минутой.

Маленькие карабкались на скамейки и, что бы лучше видеть, подсаживали друг друга.

Одна «шестушка», вскарабкавшись было на спинку скамьи, чтобы лучше разглядеть диковинного гостя, оступилась и растянулась на гладком и скользком паркете залы.

– Ах! Да он совсем, совсем как мы, этот вождь индейский! Совсем обыкновенный человек, только с маленькою головою! – протянула она разочарованно, потирая ушиблен-

ную коленку.

«Шпионка», а за нею другие дамы, вне себя носились по зале, хватая за руки младших воспитанниц и оттирая их к дверям ближайшего класса и в то же время приказывали старшим разойтись.

– Бунт!.. Настоящий бунт!.. Я сейчас же иду к баронессе... Я предупрежу ее, что весь институт взбунтовался!.. – визжала «шпионка», летая вокруг злополучной толпы.

В это время неожиданно в дверях залы показалась фигура старой инспектрисы.

На лице г-жи Ефросьевой был написан ужас. Она по привычке вертела цепочку от часов и выкрикивала тонким голосом:

– Медам, по классам! Сию же минуту разойтись!..

И почти одновременно задребезжал звонок, возвещающий конец приема.

Большой Джон, прервавший свое повествование на самом интересном месте – на борьбе некоего испанского тореадора с быком, поспешно поднялся. За ним повскакали и все его слушательницы.

– О, monsieur Большой Джон, вы должны закончить ваш рассказ в другой раз... Это так интересно, так интересно!.. – зазвенели со всех сторон тоненькие голоса.

– Вы будете на нашем выпускном балу, monsieur Джон? – вторили им другие.

– Monsieur Большой Джон, я вас приглашаю, – выкрикну-



ла Черкешенка, вся заливаясь алым румянцем, – я вас приглашаю от моего имени на наш выпускной бал.

– И я!..

– И я!..

– И я!.. – звенели голоса институток.

Большому Джону оставалось только кланяться направо и налево и благодарить, что он и делал, медленно направляясь к дверям залы.

Толпа институток, заключив его в центр своего зелено-белого круга, двигалась вместе с ним.

В дверях залы «шпионке» удалось наконец изловчиться и схватить за плечо Лиду Воронскую, оттиснутую от Большого Джона толпой.

– Если вы не скажете, кто это был, я сейчас же отведу вас к начальнице. – Крепкие пальцы немки впились в худенькое плечо девочки.

Лида тряхнула плечом, но костлявые пальцы не разжимались. Тогда Лида изо всей силы рванула руку, сжимавшую ее плечо, и выкрикнула на всю залу:

– Это... это Навуходоносор, царь ассирийский, а вы, пожалуйста, оставьте меня!..

## ГЛАВА 4

### Окончательное решение. – На милость власть имущей. – Отмененный финал. Гулливер и лилипуты. – Последние уроки. – Додошка в своей «сфере»

– Нет, тысячу раз нет! Большой Джон не прав! Нам не следует просить прощения у «шпионки»...

С этими словами сероглазая девочка стремительно влетела на кафедру. – Так нельзя!.. Мы не дети больше!.. Через два месяца мы выйдем на волю... Нас нельзя третировать, как девчонок... За Елочку мы пойдем просить татапа сейчас же, сию минуту... А «шпионка» пусть уходит... Правду ли я говорю, медапочки?.. Правду ли я говорю?

– Правду... Правду... Лида права... Вороненок прав... Молодец, Вороненок!.. – слышались взволнованные голоса.

– Нет, неправду!.. Не прав ваш Вороненок, совсем не прав! – прозвенел единственный протестующий голос, и, наскоро растолкав толпившихся вокруг кафедры подруг, Сима Эльская очутилась подле Лиды.

– А вы разве забыли, что Фюрстша сказала: или Елецкая, или я?.. Нельзя допускать до выключки Лотоса... Это убьет ее мать... А потому у Фюрстши надо попросить прощения... На этом настаиваю и я, и Большой Джон, и все, у кого есть совесть и честь... Надо урезонить «шпионку», ублажить ее... А то она, на самом деле, уйдет из института, потеряет свое место и заработок, потеряет кусок хлеба – и все это из-за нашей горячности... Так нельзя... Так нельзя...

– Правда, медапочки... Волька права. Нельзя этого... «Шпионка» тоже ведь человек... – произнесла Бухарина, кокетливо поправляя свои негритянские кудряшки на лбу.

– Правда! – эхом отозвалась Черкешенка.

– Правда, Сима. Нельзя же гнать «шпионку», как бы виновна она ни была, – слышались более смелые голоса, – это жестоко, гадко, бессердечно...

Лида от охватившего ее волнения не могла произнести ни слова. Ее худенькие плечики ходили ходуном под съехавшей на сторону пелеринкой.

– О, глупые, несмышленные девчонки! – закричала она, барабаня кулаками по кафедре, – никто же не гонит вашу «шпионку». Целуйтесь с нею. Она может подслушивать и подсматривать за нами, сколько ее душе угодно. Но просить у нее прощения, упрашивать ее остаться у нас, иными словами, поощрять ее шпионство, ее безобразное отношение к нам – нельзя... О, нет, мне ее не жаль несколько... Такую, как она, не жаль – пусть уходит... Пусть...

Глаза Лиды сделались злыми, почти жестокими, от разбушевавшегося пламени ненависти. С минуту она молчала, потом тряхнула головой и подхватила еще с большим азартом:

– Припомните, как она подвела бедную Козьмину из прошлого выпуска за то, что та назвала ее мокрой курицей... Назвала за глаза, а не в лицо, конечно. Кузю оставили без медали. А малютка Райская из-за ее шпионства была подвергнута строгому наказанию, заболела и чуть не умерла два года назад... А наша Додошка?.. Не настаивала ли «шпионка», чтобы ее оставить на второй год в первом классе – случай небывалый в стенах института...

– Настаивала, душки, сама слышала, настаивала... – пробурчала под нос Додошка, успевшая набить рот пастилой.

– А теперь эта история с Елецкой... О, она зла, как демон, эта «шпионка», и только и ищет, как бы причинить и нам зло... И ее нечего щадить. Нечего щадить, говорю я вам, – пылко заключила свою речь Воронская, и так же быстро соскочила с кафедры, как и вбежала на нее.

– Нечего щадить! Нечего щадить! – подхватили подруги.

– Долой «шпионку»! Пусть уходит! Нам не надо ее! – выкрикивали девочки.

– А я вам говорю, что так нельзя!.. Так нельзя!.. – старалась перекричать подруг Волька.

– Эльская, ты «отступница», если говоришь это... Как ты смеешь идти против правила товарищества, против класса! – раздалась вокруг Симы возмущенные голоса.

– И буду!.. И буду!.. Я знаю, что говорю... Я знаю... – неистовствовала Волька, – и за Фюрстшу горой встану... И заступаться за нее буду и... и... и...

– Так уж попросту начни обожать ее. Съешь, во имя своей любви к ней, кусок мела, дари ей розы, пиши на розовых бумажках письма, как это делают «седьмушки» и «шестые», обожающие нас, – предложила Дебицкая.

– Да!.. Да!.. И обожать буду!.. И мелу наемся до отвалу, все во имя m-lle Фюрст!.. Я, Сима, никого до сих пор не обожавшая, наемся в честь ее мелу! – неистово колотя себя в грудь, вопила Сима.

– Нет уж, Симочка, ты вместо мела касторового масла прими. Куда полезнее будет, – съехидничала по своему обыкновению Малявка.

Сима вскинула на нее прищуренными глазами и заговорила убежденно:

– Какие вы все жалкие! Какие смешные! У вас все напоказ – и ненависть, и любовь, и дружба. Все кукольное какое-то, нарочное... Ну к чему это спасать одну и топить другую?.. А впрочем...

Она не закончила, махнула рукой и соскочила с кафедры.

– Мне вас не переделать...

– К маман! к маман! За Елецкую просить, за Елочку! – влетая в класс прокричала Рант. – Маман сейчас уезжает куда-то. Надо торопиться. Карета уже подана. Я видела в окно.

И задыхаясь от волнения, Рант упала на первую попавшуюся

юся скамейку.

– Mesdames, не все, только не все к начальнице, ради Бога, не все! Пусть идут одни парфетки: Старжевская, Бутузина, Дебицкая, будущие медалистки и Надя Верг. Пусть Верг речь держит. Она говорит по-французски как богиня. А Бухарина с ними в качестве ассистентки. У нее вид как у безумной. Олицетворение отчаяния. Если тамап не простит Лотоса, ты, креолочка, на колени бух и... и... ну, уж я не знаю что... Это по вдохновению... Ну, Господь с вами!..

Воронская широко перекрестила подруг.

Дебицкая наскоро поправляла прическу Верг. Бухарина высоким гребнем закалывала свои непокорные кудри. Минута подходила торжественная. Предстать пред очи тамап растрепанными и кое-как не решился бы никто.

– Мы скажем вот что: тамап, возьмите наши медали, награды, мы в свою очередь все, до последней ученицы включительно, даем слово готовиться к экзаменам не покладая рук, но простите Елецкую, тамап... Виновата не одна она, виноваты мы все, все... – повторяла вслух высокая, степенная Старжевская и, сама того не замечая, делала перед воображаемой тамап один реверанс за другим.

– Mesdames, если Фюрст спросит, куда мы – отвадить ее без сожаления! – выкрикнула Дебицкая уже в дверях, и «парламентарии», спешно выстроившись в пары, вышли из класса.

Оставшиеся чувствовали себя как на иголках. Додошка

принялась было сосать карамельку, но любимое лакомство не доставило ей на этот раз никакого удовольствия, и, вынув карамельку изо рта, она тщательно завернула ее в бумажку и спрятала в карман до более благоприятного случая.

Красавица Черкешенка неслышно подошла к окну, оперлась на него своими точеными белыми руками и задумалась... О чем? Это вряд ли мог угадать кто-либо из окружающих ее девочек.

Взволнованная и наэлектризованная всем происшедшим, Воронская, как раненая птица, металась из одного угла класса к другому. Ее душа горела. Вся – порыв, вся – энергия, вся – стремление, эта нервная, страстная, горячо принимающая к сердцу каждое малейшее происшествие, девочка переживала все гораздо более бурно и остро, нежели ее сверстницы. Достаточно было произойти какому-либо, не совсем обычному, случаю, как она вся уже горела. Неясные стремление охватывали душу девочки. Обрывки звуков и мыслей роились в голове. Такие минуты Лида Воронская называла «своим вдохновением» и писала стихи порывисто и горячо, так же порывисто и горячо, как и все делала эта не в меру впечатлительная девочка.

И сейчас, ощутив в себе признак знакомого вдохновения, Лида быстрыми шагами подошла к классной доске и, схватив мелок, написала своим несколько ребяческим круглым почерком:

Гордые, смелые, в путь роковой!  
В путь на защиту той правды святой,  
Светоч которой в нас жарко горит,  
К благу прекрасному души манит!  
Гордые, смелые, в путь роковой,  
И да поможет вам Ангел святой!..

– Ангел святой не помогает людям, исполненным ненависти и вражды, запомните это хорошенько, Воронская, – слышался за плечами девочки насмешливый голос.

Лида живо обернулась. Перед ней стояла Эльская. Лида хотела уже дать Вольке надлежащий отпор, но последняя предупредила ее желание. Что-то скорбное промелькнуло в голубых, обычно веселых глазах Симы.

– Воронская, Бог свидетель, Воронская, что я любила и уважала вас больше всего мира, а теперь... теперь... узнав, что вы хотите топить злосчастную Фюрст, нет, я не могу вас больше ни уважать, ни любить, Воронская...

– Ур-р-раа-а-а!.. Мамап простила Елочку! Простила! Ура! И медали получим!.. И взысканий не будет!.. Мамап – дуся!.. Мамап – ангел!.. У нее слезы были на глазах, когда она сказала: «Вы большие девочки, через два месяца мы расстанемся, и мне грустно, что мои большие девочки ведут себя, как маленькие дурочки»...

Вера Дебицкая выпалила все это разом, потом остановилась на минуту, чтобы перевести дыхание, махнув Бухариной, чтобы та продолжала начатый рассказ.



Креолка, вращая выпуклыми черными глазами, подробно «донесла» классу о том, как «парламентерши» явились к татап, как та сначала встретила их сурово и не хотела слушать, а потом простила, даже прослезилась и... и... не сказала даже о необходимости просить прощения у Фюрст. Точно татап забыла об «ультиматуме» «шпионки».

Тут Бухарина окончила свою речь, бурно вздохнула и, шумно повалившись на пол посреди класса, стала отбивать усердно земные поклоны, приговаривая вслух:

– Двадцать за Елочку, двадцать за то, что татап не заметила лиловой бархатки на шее!.. Господи, благодарю Тебя!..

Класс ликовал. Выпускные целовались и обнимались, точно в Светлую Христову заутреню. «Парламентершам», так успешно выполнившим их миссию, устроили настоящую овацию.

Потом все как-то разом вспомнили о Воронской.

Она, Воронская, ведь героиня дня сегодня. Она познакомилась с Большим Джоном, который дал такой чудесный совет. Она говорила с матерью Елецкой. Ей первой пришла в голову мысль спасти Елочку.

– Вороненка качать!..

Едва Пантарова-старшая успела выкрикнуть это, как десятки рук подхватили Лиду, подняли на воздух и стали мерно раскачивать, припевая:

– Слава Воронской, слава!.. Умнице-разумнице слава!.. Сорви-голове отчаянной слава!..

– Was ist denn das?<sup>20</sup> Что за шум?.. Что за крики?.. Нельзя ни на минуту выйти из класса. Вы точно уличные мальчишки кричите всегда...

Фрейлейн Фюрст с трясущейся на маковке жиденькой косичкой, уложенной крендельком, предстала перед своим расшумевшимся стадом.

Сразу все стихли. Казалось, темный призрак молчания вошел и встал на страже у дверей. Но это не было молчание смирения. Гроза собиралась над головой несчастной мученицы в синем платье. И вот она разразилась, эта гроза. Все произошло так, как предугадали заранее девочки. Все – как по нотам.

Уже начинавшая «закипать» по своему обыкновению, Воронская мигом очутилась лицом к лицу перед ненавистой немкой.

– Маман простила Елецкую. Она не будет исключена, – прямо, без обиняков, отрезала она. Пролетело одно только мгновение. Но в это время шла глухая борьба. Худенькая, с горящими ненавистью глазами девочка и желтая сморщенная Фюрст, с отцветшим, печальным, растерянным лицом, смотрели молча, в упор друг на друга. Какая-то неведомая сила, казалось, руководила ими, сцепляя эти два взгляда.

Но, вероятно, жестокость взгляда девочки потрясла взрослую женщину. Она дрогнула, подняла голову и, краснея багровым румянцем, проговорила глухо:

---

<sup>20</sup> Что это такое?

– Я рада за вас, что татап так снисходительна, что простила Елецкую... Но я помню и то, что сказала вчера: или я, или она... Это тяжело для обеих... Но... Я могу только тогда изменить свое решение, если вы... да... если вы попросите прощения у меня за вчерашнюю дерзость.

Фрейлейн Фюрст обвела глазами своих юных оппоненток.

Вокруг нее стояло около сорока девочек, и ни у кого из них бедная пожилая женщина не прочла ни сочувствия, ни ласки.

– Sehr gut! Sehr gut! Undankbare Seelen,<sup>21</sup> – произнесла она и тотчас же, как бы стряхнув с себя малодушное отчаяние, овладевшее ею, произнесла уже твердо и непоколебимо:

– Я уйду из института. Я знаю, вы добивались этого. Итак, знайте, что я уйду от вас, если вы не попросите у меня прощения, пока я не просчитаю до двадцати раз... И если вы не исполните моего желания, мы расстанемся. Конечно, я могла бы попросить татап дать мне другой класс, но какой позор и для меня, и для вас расстаться чуть ли не накануне выпуска со своей классной дамой!.. Итак, я предпочитаю уйти... Я стала совсем нездорова. Мне не под силу дежурство в таком жестоком классе... с такими жестокими воспитанницами... Да!.. Но все же от вас еще зависит изменить мое решение. Итак, я жду. Я буду считать, и если дойду до двадцати и не услышу вашего «простите, фрейлейн», я скажу вам «прощайте» навсегда...

---

<sup>21</sup> Очень хорошо! Очень хорошо! Неблагодарные души!

– Скатертью дорожка! – пискнула Даурская из-за своего попитра.

– Это свинство, господа, не достойное людей! – звонко выкрикнула Эльская. – Фрейлейн Фюрст, я прошу у вас прощения за всех этих..

Но ей не дали договорить. Высокая, сильная Зобель подошла к Симе, схватила ее за руку, вывела за дверь и заперла перед самым носом ничего подобного не ожидавшей Эльской.

И снова жуткая тишина наступила в классе.

Фрейлейн Фюрст подняла костлявый палец кверху и произнесла:

– Раз!.. Два...

– Три... Четыре... Пять... Шесть... Семь... Восемь... Девять... Десять... – звучало над потупленными головами девочек.

Звуки резкого, но взволнованного голоса Фюрст падали как удары в сердце каждой из присутствующих; вслед затем, с незначительными паузами, голос немки становился все тише и тише... Где-то далеко, в глубине этих юных, еще далеко не испорченных сердец тлел огонек добра. Он точно указывал молодым душам, что они поступают зло и несправедливо. Но тут же настойчивый злой демон нашептывал другие слова, другие речи:

– «Так и надо ей, так ей и надо... Она шпионка, доносчица, фискалка... Она лишает вас свободы, третирует, гонит,

преследует, мучает! Вон ее... Вон!.. Вон!»

В дальнем углу класса, со скрещенными по-наполеоновски руками, стояла стриженная девочка, вперив в Фюрет долгий, немигающий взгляд. Что-то тревожило душу девочки, что-то щипало ее за сердце. Но Лида Воронская казалась спокойной как никогда.

– Одиннадцать... Двенадцать... Тринадцать... Четырнадцать... Пятнадцать... – глухо и мерно отсчитывала «шпионка», и два багровых пятна на ее желтом лице вспыхнули снова.

– Шестнадцать... Семнадцать... Восемнадцать... Девятнадцать... – понеслось уже значительно громче.

Тут фрейлейн Фюрст сделала паузу и, еще раз обведя потухающим взглядом замерших на своих местах, подобно каменным истуканам, воспитанниц, почти в голос выкрикнула:

– Двадцать!.. Свершилось!..

Теперь уже не было возврата назад. Головы опустились ниже. Глаза глядели в пол. Когда головы поднялись, немки уже не было в классе. Только слышался в коридоре удаляющийся шорох ее платья.

Дверь широко распахнулась и Сима-Волька как бомба влетела в комнату.

– Позор!.. Гадость!.. Свинство!.. И это люди!.. Это будущие женщины!.. Матери семейств!.. Гуманные маменьки, добрые жены!.. Косматые сердца у вас, каменные души!.. О, злые вы, злые!.. Человека лишили куска хлеба из-за како-

го-то пошлого принципа... И будь оно проклято, это глупейшее правило товарищества, которое, как тупых баранов, заставляет действовать вас всех гуртом. Ненавижу его и вас... Ненавижу... Да!.. Да!.. Да!.. Ненавижу!.. – заключила она свою негодующую речь. Она задыхалась. И вдруг она ударила себя ладонью по голове и задорно подняла голову.

– Если вы такие, – вызывающе крикнула Эльская всему классу, – я хочу быть иной. Я догоню Фюрст, я скажу ей, что мне жаль ее... Мне, Вольке, разбойнику и «мовешке», которой попадало от нее больше всех! Я ей скажу: «У них бараньи головы, фрейлейн Фюрст, они глупы и черствы, как прошлогодние сухари, но мне жаль вас, потому что они несправедливы, они не имели права...»

И прежде чем кто-либо успел удержать ее, Эльская выскочила из класса.

– Волька!.. Изменщица!.. Отступница!.. Не смей!.. – понеслось за нею вдогонку.

Но она не слышала ничего. Она пронеслась вихрем по коридору, вбежала на лестницу, влетела по другому коридору на половину верхнего этажа.

Две «сеньмушки», попавшиеся ей навстречу, приняв ее за сумасшедшую, с визгом отлетели в сторону.

Вот и комната фрейлейн, «лисья нора», как окрестили ее в насмешку институтки. «Шпионка» там. Она стоит посреди своей маленькой, убого обставленной конурки, где все дышит бедностью и чистотой, и тихо, жалобно плачет. Ее высо-

кая фигура, жиденьякая косичка, заложенная на темени крендельком, так убийственно жалки, что сердце Симы дрогнуло от боли.

– Фрейлейн!.. М-lle!.. Голубушка!.. Ради Христа!.. Не плачьте!.. Плюньте на них!.. Они чудовища мохнатые... Они... И ей-Богу же свет не без добрых людей, и вы найдете лучшее место!.. – говорила она, схватив руки немки и отчаянно тряся их.

Сначала Фюрст отступила в глубь комнаты, ожидая какой-то новой злой выходки или проказы со стороны этой девочки.

Но лицо Эльской дышало таким участием, такую доброю, что она сейчас же успокоилась, обняла девочку и прижала ее к груди.

– Спасибо!.. Спасибо!.. Не ожидала от вас... Вы одна любите меня... – прошептала она чуть слышно.

– Нет, фрейлейн, и я не люблю вас, – нимало не смущаясь, поправила ее Эльская, – и мне не нравилось, что вы слишком подсматривали... то есть, извините ради Бога, были чересчур резки и жестоки с нами... А только у меня мама гувернанткой была, и я знаю, что значит уйти с места и как трудно получить другое и... и желаю вам всего лучшего, фрейлейн... Простите меня... а то я, ей-Богу, сейчас разревусь, как теленок...

И Сима бросилась бежать из «лисьей норы» назад в класс, где шумели тридцать девять разгоряченных девочек и где

Лида Воронская выводила четко на классной доске:

Свобода!.. Свобода!.. И нищий, и царь

Стремились к ней с давних веков...

Так будет вовеки, так было и встарь...

– Рант! – крикнула, замирая с мелком в руке у доски, Воронская, – дай мне скорее рифму на «веков».

– «Дураков», – не задумываясь выпалила стрекоза, и юная поэтесса и ее вдохновительница покатались со смеху.

Выпускные шумно праздновали победу, ничуть, казалось, не заботясь о произошедшем. «Шпионка» должна была исчезнуть, и пылкие головки не хотели думать ни о чем другом...

\* \* \*

Прошла неделя. Весна настойчиво и быстро вступала в свои права. Таял снег на улицах, и скупое петербургское солнце сияло ярко в эти лучезарные апрельские дни. Усердные дворники сгребали деревянными лопатами в кучи грязный снег, помогая городу приготовиться к встрече голубокой гостью-весны.

Небо было синее-синее, как лазоревый лионский бархат нежнейших тонов.

В выпускном классе старших воспитанниц тоже весна. Ка-



кое-то приподнято-радостное настроение царило среди институток. Этому способствовал немало рапорт, поданный неделю тому назад ненавистной Фюрстшей, которая в ожидании полного увольнения взяла отпуск и переехала жить к сестре.

«Первые» освободились. Никто не шпионил за ними больше, никто не подслушивал, не подсматривал, не бегал «с доносами» к тамам. Вместо «шпионки» дежурила молоденькая, хорошенькая Медникова, классная дама «пятых», недавно только вышедшая из пепиньерок и державшаяся за просто, по-товарищески с классом выпускных. С этой стороны обстояло все хорошо, но... это маленькое «но» отравляло радость весны барышням. В этом «но» сказывалась заговори́вшая совесть. Со «шпионкой» поступили несколько круто, и каждая из девочек не могла не сознаться в этом. Голос совести нет-нет да и давал знать о себе. К тому же разбойник Волька-Сима Эльская после истории с шпионкой объявила классу открытый протест. Она демонстративно поворачивалась спиной, когда кто-либо заговаривал с нею, и резала на чистоту:

– Я со злыми психопатками дела не имею, – и уходила к своей «мелюзге».

Эта мелюзга были маленькие «седьмые», «шестые» и «пятые», обожавшие Симу. Часто можно было видеть в коридоре Эльскую, окруженную маленькими институтками, льнувшими к ней, как цыплята к наседке. Здесь, во время беско-

нечных прогулок по коридору и рекреационному залу, слышалось поминутно:

– М-Ле дуся... Я вас обожаю...

– М-Ле Симочка, ангелочек, придите в «долину вздохов». Я вам покажу мою руку: я на ней ваше имя выцарапала булавкой и чернилами замазала по рубцу... Красиво вышло... Честное слово!..

– Ну и глупо сделала, – укоряла свою неистовую обожательницу Эльская.

– Что же делать, дуся, я вас так люблю...

– А то делать, что казенного имущества не портить... Ведь ты казенная, за тебя казна платит, – и синие глаза Симы сверкали в сторону чересчур рьяной поклонницы. – Казна. Понимаешь?

– Казна, дуся... – соглашалась чуть слышно та.

– А если казна, значит портить казенное имущество ты не смеешь. Поняла?.. А если еще и руки себе уродовать будешь, я не только в «долину вздохов» не приду, а пожалуюсь на тебя вашей классной даме m-Ле Фон или прямо кочерге... то есть я хотела сказать инспектрисе, – поправилась в своей антипедагогической ошибке Сима.

– Не буду, mademoiselle дуся... Только не сердитесь, – сконфуженно бормотала малютка и наскоро «прикладывалась» к своему кумиру, то есть попросту чмокала розовую щеку Эльской и ее плечо.

– Mesdames, смотрите, Гулливер со своими лилипутами

снова шагает по коридору, – язвила Малявка, просовывая свою лисью головку в их класс и указывая на Симу другим выпускным.

– И буду шагать, и буду! – приходила в неистовство Волька, – не с вами же мне быть после вашей гадости со «шпионкой»!.. Мои лилипуты лучше, чище, добрее... С ними легче дышится... С ними снова чувствуешь себя детски незлобивой и простой. А вы все трусливые исполнительницы воли вашего командира – Воронской...

Сима поворачивала назад и, окруженная целой толпой своих маленьких поклонниц, исчезала.

А время не шло, а бежало все вперед, все вперед. Дольше открывались форточки в классе, ярче играли солнечные лучи на треножниках с аспидными досками. Небо синело все ярче, все томнее, и сорок юных душ готовились выпорхнуть из серых стен крепкой тюрьмы...

Утро. Небо синее, жгуче-красивое, яркое, веселое, молодое. Пахнет весной, ароматной и свежей, как дыхание ландыша.

В длинных коридорах и классах веет не весной, а тем своеобразным запахом жареной корюшки с картошкой и луком, которую особенно любит давать институтский эконом на последней неделе Великого поста.

Последняя неделя. Последние уроки. И не уроки даже, а скорее репетиции слабым ученицам, исправление дурных

отметок, полученных в году. Затем прощальные, напутственные речи учителей и усердная подготовка к выпускным экзаменам и в конце концов, достижение того светлого «финала», о котором мечтает чуть ли не с самого первого дня своего поступления каждая «сдьмушка».

Утро. Около большого створчатого окна первого класса собралась группа девочек.

Тут высокая, полная, не по годам развитая Бухарина, красавица-Черкешенка, зеленоокая Лотос-Елецкая, бледнушка Рант с ее чахоточным румянцем и бойкими, шаловливыми, несмотря на недуг, глазами, живая румяная хохлушка Масальская и Додошка, что-то усиленно жующая по своему обыкновению.

Форточка в классе открыта, но Черкешенке жарко; она сбросила пелеринку. Черные кудрявые пряди выбились из прически девочки, упали на ее белый лоб. Глаза ее стали такие прекрасные и большие, точно обновились с началом весны.

– Медамочки, милые, – звенит нежный голосок девочки, – ведь день-то какой сегодня!.. Подумайте, последний день уроков! А там зацветут липы, запестреют цветы, и мы, как сказочные девы, нарушив злые чары злой колдуньи, выйдем из этих зачарованных палат...

– Ну пошла-поехала!.. И девы, и чары, и палаты!.. Хочешь леденец? – великодушно предложила Додошка.

– Какая вы, Даурская, проза. Ничего-то, ничего в вас нет

возвышенного, право, – обиделась Гордская.

– Да полно вам спорить, душки. Смотрите, солнышко-то как играет! А в Малороссии у нас теперь совсем теплынь. Не то, что у вас. У вас здесь гадость в сравнении с родной моей Хохландией. Люблю ее...

И, вскочив на стул, хохлушка Масальская продекламировала с пафосом:

Ты знаешь край, где все обильем дышит,  
Где реки льются чище серебра,  
Где ветерок степной ковыль колышет,  
В зеленых рощах тонут хутора...

– Зинзерин идет! – шумно распахивая дверь класса, прокричала Воронская.

– Зинзерин! Батюшки! Поправочных спрашивать будет и меня, значит! Господи помилуй, я Пифагоровой теоремы – ни в зуб толкнуть, а у меня шестерка... Поправлять меня, как Бог свят, захочет! – чуть не плача, металась Додошка.

– Глупенькая, тебе же лучше будет. Спросит, ответишь кое-как, семерку получишь, и то хлеб. На экзамене тоже «семь» и в аттестате «удовлетворительно», – убеждала степенная Старжевская не на шутку перепуганную Додошку.

– Ах, да пойми ты, Стриж, не могу я отвечать сегодня. Все равно навру. Я ни одной теоремы – ни в зуб. А тут еще весна катит, дворники улицы скребут, выпуск через два месяца... Хоть убейте меня – ничего не отвечу... Ясно, как шоколад.

– В таком случае беги в лазарет. Скажи Медниковой, что желудок расстроен, – подала совет Рант.

– Ну, уж только не туда, а то я как-то раз от физиканта сбежала, а Вера Васильевна напоила меня касторовым маслом с мятой... Слуга покорный!.. – запротестовала Додошка.

– Тогда полезай в шкаф. Мы тебя запрем, а скажем, что ты в лазарете, – великодушничала на этот раз Малявка.

– Мерси боку! Кушайте сами! Там я вчера, когда платки вынимала, видела огромного таракана... И душно как там, медапочки!.. Нет, не могу, – отказалась наотрез Додошка...

– Тогда оставайся на поправочной, – зашумели вокруг нее другие.

– Не могу... Ей-Богу же, не могу, души, – закрестилась Додошка, бегая растерянным взглядом по классу.

Вдруг она сказала:

– Спасена! Наконец-то придумала... Спасена!.. Помогите мне только влезть в «сферу», медапочки, а там и дело в шляпе.

– В «сферу»? Отлично придумано... Додошка просидит весь урок в «сфере». Ни Зинзерину, ни «синявке» в голову не придет искать ее там...

И девочки, подхватив под руки злополучную Даурскую, успевшую засунуть себе в рот мимоходом леденец, повлекли ее к огромному глобусу, стоявшему посреди класса и называемому «сферою».

Чьи-то услужливые руки отстегнули крючок, скрепляю-

ций две половинки «сферы» в одно целое, другие руки помогли Додошке пролезть в образовавшуюся щель. Затем «сферу» захлопнули, закрыли на крючок, соединив обе половины. И с веселым жужжанием девочки бросились садиться на свои места.

Все было сделано как раз вовремя, за минуту до появления математика.

Когда он вошел, торжественно предшествуемый Медниковой, дежурившей в этот день, «первые» чинно стояли уже вдоль своих скамеек и степенным реверансом приветствовали учителя.

Молодой еще, «непростительно белокурый», как о нем отзывались ученицы, – высокий и потирающий то и дело руки, с немного длинным, но правильным «греческим» носом и красивой белокурой бородой, математик Юлий Юльевич Зинзерин был обожаем чуть ли не добрую половиною класса. Его прозвали Аполлоном Бельведерским, ему посвящали стихи, закладывали в скучный учебник геометрии и начальной алгебры розовые закладки и засохшие цветы, оставшиеся с каникул, чуть ли не дрались из-за чести приготовить ему кусок мела, обернутый нежнейшего цвета пропускной бумагой, с неизбежным цветным бантом из шелковых лент.

Monsieur Зинзерин от природы был очень застенчив; знаки необычайного внимания скорее досаждали, нежели радовали его.

И сейчас он уже сторал от смущения перед своим послед-

ним уроком, на котором ему надо было обязательно сказать выпускным на прощание какую-нибудь речь. Несчастный мученик в вицмундире уже представлял себе, как сорок пар глаз будут ждать от него пышных фраз и чувствительных слов перед долгой, по всей вероятности, вечной, разлукой. И заранее несчастный оратор краснел как пион и обливался потом при одной мысли о предстоявшем ему мучении.

– Девицы... то есть... да... Я хотел сказать, девицы... – начал он, путаясь и заикаясь, – познания многих из вас далеко не отвечают требованиям или... вернее... должны быть много... много... лучше, то есть я хотел сказать, отметки многих перед годовым окончательным выводом неудовлетворительны, а посему я думаю... то есть я желаю... я смею надеяться, что многие из вас пожелают поправить свой балл на лучший, в чем я охотно готов оказать им посильное содействие... И я поэтому позволю себе вызвать госпожу Даурскую, Эльскую, Берг и Воронскую как самых слабых по моему предмету учениц.

– Даурской нет... Она больна, она в лазарете... – раздался дружный хор из тридцати девяти голосов, в то время как тридцать девять же пар глаз невольно скосились в сторону огромной «сферы», откуда слышался подозрительный шорох.

– Очень жаль госпожу Даурскую. Ей придется, стало быть, остаться до экзамена при неудовлетворительной отметке, – произнес математик и пометил против фамилии Додошки в



журнальной клеточке миниатюрное шесть.

Потом он повернул в сторону выстроившихся у доски воспитанниц свою классическую голову с греческим носом и красивой белокурой бородой и вежливо предложил Воронской доказать равенство прямых углов.

Вопрос, предложенный Лиде, принадлежал к числу простых, пройденных девочками еще в четвертом классе, но Лида никак не могла найти сегодня сходство между линией АВС и ЕСВ, потому что солнце сияло слишком ярко, а небо синело уж чересчур красиво, и белокурая борода и такие же волосы Аполлона Бельведерского казались вылитыми из золота и бронзы в этот светлый, яркий утренний час.

Эти золотые волосы овладели, казалось, вниманием стриженной девочки, и она уже подыскивала строфы, посвященные им:

Золотое руно на твоей голове,  
В нем играют златые лучи...

Линии АВС и ЕСВ уже окончательно переставали существовать для нее, как неожиданно позади вызванных воспитанниц кто-то чихнул сильно и громко.

Зинзерин, Медникова и весь класс замерли от неожиданности. Чихал кто-то невидимый, находившийся в стороне и от вызванных воспитанниц, и от всего класса.

Словом, чихала Додошка в «сфере».

Девочки испуганно переглянулись.

«Что-то будет?! Что-то будет?!» – мысленно пронеслось в душе каждой, и все глаза с тревожным ожиданием впились в Аполлона. Но тот, казалось, не обратил внимания на это обстоятельство и продолжал спрашивать «поправочных», усиленно, по своему обыкновению, потирая руки.

Ему кое-как посчастливилось стряхнуть рассеянность Лиды, помочь ей выпутаться с уравнением углов, и, способной ко всякой науке, кроме математической, девочке удалось довести свою несложную задачу до конца.

Берг тоже довольно бойко проделала уравнение на доске, а Эльская, при усиленной помощи Зинзерина, решила на другой доске несложную геометрическую задачу.

Ответивших отпустили на место. Волнение среди «поправочных» кое-как улеглось, но зато оно вспыхнуло в душе самого математика.

Время говорить речь приближалось, а несчастный Аполлон Бельведерский все не мог приступить к ее началу. По классу прошел легкий гул, чуть уловимый, как шелест утреннего ветерка.

Это чуть слышно сморкались и откашливались девочки перед началом столь ожидаемой речи.

И вот Зинзерин начал. Он схватил с кафедры линейку, безжалостно стиснул ее обеими руками и, обливаясь чуть ли не десятым потом, обвел тоскующим взглядом класс. Обвел и... остановил глаза свои на «сфере». Внезапная мысль, оче-

видно, осенила его голову, и он очутился у огромного глобуса.

– Девицы... – робко прозвучал его голос. – Вот перед вами изображение земного шара, т. е. мира... Вы видите этот мир, этот огромный мир с его планетами, с его Вселенной... По этому миру рассыплетесь вы... – тут он поднял линейку и слегка ударил ею по верхней оболочке «сферы».

– Апчхи!.. – четко и ясно послышалось изнутри и почти тотчас же повторилось еще более явственным, громким звуком, еще... еще...

– Апчхи!.. Апчхи!.. Апчхи!..

Класс не выдержал на этот раз и дружно фыркнул.

Зинзерин с минуту мялся на месте, подозревая какую-то злую шутку.

Но речь надо было окончить во что бы то ни стало, и все усилия математика сводились теперь к окончанию этой речи.

– И вы рассеетесь по свету, – с легким дрожанием в голосе продолжал он, – и понесете всюду с собою тот светоч знания, который затеплили здесь, в этих стенах, ваш ум, ваши сердца, ваши души... И где бы вы ни находились – на севере ли, на юге или...

Тут черная линейка в руке Аполлона энергично ткнулась в то место «сферы», где обозначался север. Но при этом злополучная палочка наскочила на не менее злополучный крючок, единственную задвижку «сферы». Крючок отскочил, «сфера» раскрылась, как бы раскололась на две равные

части, и Додошка, как ядро из пушки, с шумом вылетела из нее. Вылетела и растянулась на полу у самых ног Аполлона.

И что это была за Додошка!..

Классная девушка, прислуга, очевидно, давно не вытирала пыль внутри «сферы», и она толстым слоем облепила девочку. В первую минуту не было видно ни зеленого платья Додошки, ни ее черной головки, блестящей как вакса, ни ослепительно белого передника и пелерины. Все было сплошь покрыто отвратительным густым серым налетом пыли, облако которой закружилось по всему классу, как кружатся в летний вечер над болотом тучи комаров.

– Апчхи!.. Апчхи!.. Апчхи!.. – слышалось то здесь, то там неумолкаемое чихание девочек от немилосердно залезавшей в рот и в нос пыли.

– Ха-ха-ха!.. – вторил ему хохот девочек.

Сама Додошка чихала без передышки. Чихая, поднялась она с полу, чихая, отвесила реверанс оторопевшему учителю, который из опасения расчихаться от целого потока пыли, струившегося прямо в его греческий нос, усиленно покачивал справа налево классической головой греческого бога.

Наконец пыль поулеглась немного, кто-то догадался закрыть «сферу», и Аполлон Бельведерский обрел возможность снова говорить.

– Госпожа Даурская, то есть... вот именно... нехорошо-с... Мне сказали, что вы в лазарете... а вы... то есть, почему же вы это туда-с?.. Благоволите объясниться... если

возможно, – обратился он к злополучной Додошке, красноречивым жестом указывая на «сферу».

Та стояла истуканом и оторопело моргала длинными ресницами.

«Благоволить объяснить» было однако необходимо, и она уже открыла рот, но, увы!.. – могла только промычать нечто малопонятное как для учителя, так и для всего класса, потому что, по обыкновению, рот Додошки был занят всем запасом леденцов.

– Садитесь, Бог с вами, госпожа Даурская... Надеюсь, на экзамене вы постараетесь загладить свою вину передо мною, – нашел в себе силы улыбнуться учитель. – А теперь, девицы, я хочу вам сказать на прощанье, что, разлетевшись по всему свету, подобно стае вольных пташек, вы унесете с собою тот священный огонь познаний, который зажгли в вас в этих благотворных стенах... и... и... апчхи!.. – неожиданно чихнул математик и, бросив взгляд отчаяния сначала на злополучную «сферу», потом на не менее злополучную Додошку, стремительно поклонился, приложил к носу платок и быстрее молнии исчез за дверью.

## ГЛАВА 5

# Еще прощанье. – Рыжебородый Тор. – Тайна Моры Масальской. – Под покровом апрельской ночи. – Вестник горя. – Драма начинается. – Жених

Прозвенел звонок. Классная девушка с грохотом захлопнула форточку. Почти одновременно с шумно вбежавшей из коридора толпой воспитанниц вошел нервной, развинченной походкой человек в виц-мундире, с огненно-рыжей растительностью на голове, с очками на носу, историк Стурло, или «Рыжебородый Тор» по прозвищу неумолимых институток.

Гроза лентяек и долбежек одновременно, Николай Петрович Стурло требовал сознательного и честного отношения к своему предмету, который он любил всей душой.

– Задалбливанием и зубрежкой вы меня не надуете, – говорил он часто самым лучшим ученицам класса, – вы мне выводы-с подавай-те-с... Причину и следствие того-с или другого-с факта... Чтобы я знал, что у вас в голове мозги-с, а не труха-с сенная...

Он был нервен, зол, взыскателен, но справедлив, и хотя его боялись, но любили почти все его многочисленные ученицы.

Сегодня, на последнем уроке Стурло, все сидели как на иголках. «Скажет или не скажет прощальную речь?» – мелькало в каждой юной головке.

Обожательница Стурло – Малявка – приготовила своему кумиру мелок в великолепном наряде из тюлевой бумаги с ослепительно розовым бантом из атласных лент. Мелок в виде кукольной балерины лежал на самом видном месте у чернильницы.

Когда Стурло понадобилось написать программу по хронологии, он схватил мелок, подошел к доске и тотчас же, брезгливо гримасничая, отшвырнул от себя нарядную «штучку».

– Черт знает, что такое!.. Писать нельзя!.. Дайте мне что-либо попроще, девицы, – морщась, бормотал он, в то время как багровая от смущения Малявка делала над собой самые страшные усилия, чтобы не расплакаться навзрыд от обиды.

Но Стурло было не до обиженной девочки. Сорвав всякие украшения с мелка, он схватил его своими нервными пальцами, облоснил немного о край доски и быстро стал писать программу.

«Не будет речи... – разочарованно вздохнули девочки, – речи не будет... Вот вам и историк!.. Вот вам и „Рыжебородый Тор“!..»

Но на этот раз они ошиблись. За пять минут до звонка Стурло дописал последнюю строчку и, живо обернувшись к классу, без всякой подготовки, ясно и просто начал свою речь:

– Ну, вот и конец. Через два месяца вы уйдете отсюда, разлетитесь вправо и влево и понесете с собою тот, надо признаться, довольно скудный багаж познаний, который вам удалось «нахватать» здесь. Груз, как вы сами понимаете, невелик, и не знаю, как справятся с ним те, которым придется учить ребят. В крайнем случае пусть обратятся ко мне. Я укажу источники, которые помогут сориентироваться хоть немного будущим преподавательницам, гувернанткам. Чего же вам пожелать на прощанье?. Выходите-ка вы поскорее все замуж... Мужу щи стготовить да носки починить – дело не мудреное, и справитесь вы с ним отлично. А пока до свидания. Мое дело окончено. На экзамене встретимся и предупреждаю: лют буду, коли хронологии знать не будете... А теперь счастливо вам оставаться...

И так же стремительно, как и появился, Стурло вышел из класса.

– Грубый материалист!.. Щи варить! Носки штопать!.. И я его любила!.. Я его лю-би-лаа-аа!.. – рыдала навзрыд на плече сестры Кати Пантаровой разогорченная Малявка.

– Милая... такое разочарование!.. Кумир, божество, и вдруг... щи, носки!.. Бррр!.. – Макарова сочувственно поцеловала разгорченную девочку.



– Что же, по-твоему, лучше, чтобы твой муж без носков ходил? – послышался насмешливый голосок Лиды Воронской с последней парты.

– Воронская, вы проза. Вы серые будни. Вы «само обыкновение»... – забывая свои слезы и горе, вспыхнула Малявка. – Гадость какая – про носки говорить!

– Неправда, Пантарова... Лида не проза, она – поэтесса. Это вы все из зависти напускаетесь на Лиду, – вступилась за свою любимицу обычно кроткая Черкешенка и, заливаясь ярким, счастливым румянцем, с нервной поспешностью повела по волосам.

– Чудицкий идет! – послышался вслед затем ее сдержанный шепот.

– Владимир Михайлович идет, – подтвердила Медникова. Едва успели девочки занять свои места, как в класс вошел «предмет и пассия» чуть ли не целого института, учитель русской словесности Владимир Михайлович Чудицкий.

Про Чудицкого Зина Бухарина, – прекрасно рисовавшая, говорила:

– Одеть бы его, душку, в боярский кафтан и соболью шапку, вот-то был бы красавец!..

И действительно, высокая, статная фигура «словесника», его чисто русское, красивое, дышащее свежестью лицо, его выющиеся волосы, его изящная походка и деликатные жесты, наконец приятный голос, невольно привлекали к себе. Но не одной внешностью и голосом пленял Чудицкий юные серд-

ца. Он сумел чуткой натурой глубокого психолога и разгадчика детских душ понять своих юных учениц. Сам еще не успевший в силу своей молодости познакомиться с преподавательской чиновной рутинной, он относился к своей аудитории иначе, нежели другие учителя. С воспитанницами, с первого же года своего поступления в четвертый класс, он держался как равный. Он видел в них взрослых девушек, каждую с ее индивидуальностью, с ее характерной чертой, и умел, не затрагивая самолюбия ребенка-девушки, руководить ими. К тому же он обладал редким качеством, столь ценным в преподавателе: он умел читать с захватывающим интересом. Его декламация – образная, артистически-яркая – захватывала юных слушательниц. И класс чтения прозы и стихов считался самым интересным на сером фоне будничной институтской жизни.

В свой последний урок Чудицкий обещал принести лермонтовскую поэму «Демон» и прочесть ее классу.

Немудрено, что его появление было встречено с бурным восторгом.

– В последний раз мы видим вас, в последний раз!.. Прощайте, Владимир Михайлович! – произнесла Дебицкая, и карие, блестящие глазки девочки сверкнули слезами.

– Еще на экзамене увидимся, – поправил учитель.

– Ах, это не то! – кокетливо поводя глазами, проговорила Бухарина, незаметно поправляя локончик на своей кудрявой голове.

– Да, да! не то, не то! – подхватила Мора Масальская, самая яркая из обожательниц «словесника».

– Прощайте теперь, Владимир Михайлович, милый Владимир Михайлович! – неожиданно выкрикнула восторженная хохлушка и тут же от чрезмерного смущения юркнула под доску своего тируара с головой.

Чудицкий сдержанно улыбнулся. Потом привстал на кафедре, своими белыми, холеными руками оперся о ее края и начал:

– Я не хочу вам говорить «прощайте», mesdames, я хочу вам сказать «до свидания», ибо, как говорится, гора с горой не сходится, человек с человеком всегда встретиться может. Авось и я, ваш ворчун-учитель, когда-нибудь с вами встречу. Во всяком случае, прошу не поминать лихом, если кого обидел ненароком. Это было невольно. И на прощанье смею напомнить вам: продолжайте развивать свой ум хорошим чтением. Не забывайте Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Толстого, Гончарова, Тургенева. Помните наших несравненных классиков, следите за новейшими течениями литературы и поэзии, анализируйте, проводите параллель с прежними классическими творениями, сравнивайте – это развивает. А теперь, напоследок, хочу еще раз прочесть вам нашего бессмертного любимца с тем, чтобы запечатлеть высокой памятью о гении Лермонтова наш последний урок.

Чудицкий раскрыл изящно переплетенный томик лермонтовских поэм. Послышалось сдержанное покашливание,

чуть слышное всхлипывание на «Камчатке», то есть на последней скамейке, и все умолкло разом. Точно сказочный весенний сон овеял класс и зачаровал юные сердца. Встали мрачные твердыни горных великанов... Повеял дымок из ущелий... Аулы закипели жизнью... Черноокие кавказские девы шли с кувшинами за водой к горным родникам... Голос чтеца передавал эти чудные лермонтовские картины, все замирали от восторга, и только когда явилась Тамара с черными до пят косами, все глаза обратились к Елене Гордской.

– Совсем Черкешенка!.. Совсем она!.. – слышались восторженные голоса.

И красавица Черкешенка рдела, как роза.

Но вот полились кипучим потоком страшные, как смерть, и прекрасные, как юность, клятвы:

Клянусь я первым днем творенья,  
Клянусь его последним днем...  
Клянусь позором преступленья  
И вечной правды торжеством...

Бурный вздох вырвался из чьей-то груди. Все невольно обернулись.

На последней скамейке стояла во весь рост Рант с пылающими щеками, со взором мечтательным и счастливым, простирая руки вперед к окну, куда золотым потоком врывалось золотое солнце, и говорила в экстазе:

– Да, да, я скоро умру... Но я хочу теперь умереть... Да,

да, хочу!.. Сейчас, сегодня!.. Потому что они все, – она обвела глазами класс, – и вы, Владимир Михайлович, и эти божественные стихи, и гений Лермонтова, и утро нашей весны, такое светлое, и все это не повторится никогда... никогда... никогда...

Целый день выпускные ходили как зачарованные. Не хотелось говорить ни о чем пустом и сером. Чарующая музыка лермонтовского стиха еще звенела в воздухе, как незримые струны Эоловой арфы.

Лида Воронская не отходила от доски, на которую лились целым каскадом новые стихи, слагались целые поэмы.

Это настроение, эти чары молодости, весны и красоты не рассеялись и когда маленький, черноволосый Розенберг, преподаватель физики, прозванный почему-то «протоплазмой», вошел в класс.

– Речь, господин Розенберг, речь! – слышались голоса.

– Еще что выдумали!.. Уж молчите лучше, а то вдруг на «актовом» единиц насею, что твоей пшеницы, – рассердился строптивый учитель. – Что я вам за оратор выискался!.. Небось госпожа Рант причины грозы не знает и элемента Бунзена от Грове не отличит. Отличная девица! Пожалуйте на поправку. А то в среднем шестерку выведу... Срам!

– Мне Бунзена и Грове отличать не надо, господин Розенберг. Я умру, да, я умру, я хочу умереть молодою, – мечтательно произнесла Мила Рант, не успевшая остыть от лири-

ческого настроения, навеянного недавним чтением лермонтовских стихов.

– Да, да, она умрет молодой, – подхватила со своей скамьи восторженная хохлушка Мара.

– Батюшки!.. Да они спятили напоследок!.. – фальцетом выкрикнул Розенберг. – Господи помилуй!.. Да у вас тут все ли в порядке, отличнейшие девицы?..

И он повертел указательным пальцем вокруг своего лысого лба, а через минуту энергично выкрикивал, уже стоя у доски и размахивал руками:

– Госпожа Рант, не угодно ли рассказать мне происхождение кислорода...

«О, этот кислород, противный кислород!..», – почти с ненавистью подумала девочка, призывая всю свою память на помощь...

...Кончился скучный урок не менее скучного «протоплазмы». Кончился и последний урок старого, милого, доброго француза Ратье, которого девочки боготворили дружно всем классом, что не мешало им, впрочем, прозвать своего любимца «римским папой» за особого рода головной убор, который имел нечто общее с папской тиарой и с которым почтенный француз не расставался ни зимой, ни летом.

Старик Ратье сказал глубоко прочувствованную речь, в которой называл выпускных «своими милыми маленькими девочками». От этой речи повеяло той, чисто отеческою, теплотой, которую так чутко умели ценить все эти милые,

наивные и впечатлительные девочки.

Во время речи всхлипывали и сморкались. Платки не исчезали из рук, веки вспухли, предательски краснели кончики носов.

Экзальтированная Рант не утерпела, вскочила со скамьи и бросилась пожимать руку тоже, в свою очередь, прослежившегося старика-учителя. Хохлушка рыдала. Черкешенка поводила вокруг своими черными, как взгляд раненой лани, тоскующими глазами.

Лида Воронская кусала губы, а Сима Эльская терла себе глаза, уверяя свою соседку, что ей под веко попала соринка.

Звонок к обеду прервал чувствительную минуту прощания. Старик Ратье дрогнувшим голосом произнес:

– A bientôt, mes enfants!<sup>22</sup>

Доброму старому французу было действительно жаль девочек, которых он принял на свое попечение крошечными «сеньмушками» и теперь сдавал на руки родителей, выпуская в большой, порой бесчувственный, порой жестокий и холодный, мир.

– Вот и последний урок! – произнесла Бухарина. – Теперь уже мы наполовину свободны. Одной ногой на воле.

– Ура-а-а! – крикнула было Додошка и высоко подбросила учебник французской литературы над головой.

Но никто не подхватил этого «ура», никто не поддержал девочку. Новое, светлое, немного грустное настроение охва-

---

<sup>22</sup> До скорого свидания, мои дети!

тило выпускных. Что ждет их впереди? Будет ли им так хорошо и светло на пресловутой воле, которая тянется к ним давно желанным, манящим призраком из-за серых, хорошо знакомых институтских стен?

За обедом вспоминалось чтение Лермонтова, речь француза, последние напутствия учителей. Ели мало и неохотно; говорили нехотя.

Одна Додошка, воспользовавшись моментом, проглотила три порции баранины, заела их молочным киселем и чувствовала себя прекрасно.

Ждали ночи, когда после вечернего чая можно было подняться в дортуар, сбросить камлотовые «мундиры», облечься в собственные шали и юбки, зажечь собственные свечи в под свечниках и, собравшись у кого-нибудь из подруг, вдоволь намечтаться вслух о предстоящем, поговорить о прошлом.

И вот настал желанный час.

Медникова, отдежуривав у старших, отправилась восвояси укладывать своих «пятушек», с которыми справлялась в ее отсутствие старшая пепиньерка – «старая дева», как называли воспитанниц двух старших специальных педагогических классов их младшие однокашницы.

Выпускные остались одни.

– Mesdam'очки, я вас приглашаю сегодня к себе в мою «группу», – послышался голос Зины Бухариной, и не прошло и пяти минут, как группа Зины собралась на ее постели.



Зину Бухарину любили в классе. Эта смуглая девушка, несмотря на свою юность (ей было не больше шестнадцати), казалась старше подруг.

Странно сложилась жизнь Зины. Она родилась в цветущей Палестине, где отец ее имел место консула. Роскошь и баловство окружали чуть ли ни с колыбели девочку. Двенадцати лет она танцевала на балах в длинном платье со шлейфом, с венком на кудрявой, как у негра, головке. А когда ей минуло пятнадцать, отец ее умер скоропостижно, и ей с матерью пришлось существовать на сравнительно скромную вдовью пенсию. Из роскошных консульских палат, влиянием капризницы-судьбы, девочку перенесло прямо в серые стены института. Любовь к роскоши, к восхищению своей красотой остались в Зине. Она была кокетлива, любила украшать себя ленточками, бантиками, любила мечтать о прошлом, и будущее казалось ей полным неожиданностей и сказочной красоты. Она прекрасно писала масляными красками и пастелью, и карьера художницы светила Зине путеводной звездой. Хорошенькая «креолка» уже видела в мечтах своих будущие лавры, шумный успех, толпу поклонников и прежнюю роскошь, которою она пользовалась в золотые дни детства. Зина изъездила полмира и умела рассказывать обо всем виденном увлекательно и горячо. К тому же на нее, как и на Лиду Воронскую, возлагались большие надежды. Она, как будущая художница, должна была поддержать честь своего выпуска успехом ее будущих работ.

К этой-то Зине Бухариной и собралась сегодня ее «группа».

– Как подумаю, что через два месяца выпуск, так даже жар бросает! – прозвенел голосок Черкешенки, по привычке то заплетающей, то расплетающей маленькими хрупкими пальчиками концы длинных черных кос.

– Да... выпуск... все радостные, счастливые, в белых платьях... в белых шляпах... как на праздник... А для многих и не праздник это вовсе, а долгая, мучительная, серая, трудовая лямка, – послышался голос Карской, некрасивой девочки в очках, с изрытым оспою лицом и шершавыми руками.

– Ну пошла-поехала наша святоша! – скривив маленький ротик, сказала Малявка, – то есть удивительно даже, как от вас, Карская, панихидой пахнет...

– Нет, панихидой пахнет от меня, – подхватила Рант, и ее шаловливые глазенки засияли восторгом, в то время как бледные губы улыбались с печальной и сладкой грустью, – панихиду по мне служить будут... Ведь я «обреченная»... У нас все умерли рано: и мама, и бабушка, и Таля, сестра, все от чахотки. Не умерли даже, а растаяли точно, как снег, как свечи, и я растаю. Увидите, mesdam'очки. Вскроется Нева, зацветут липы, ландыши забелеют в лесу, соловей защелкает ночью, а я буду сидеть в белом пеньюаре на балконе и слушать голоса ночи в последний раз... в последний...

– Ночью какие же голоса бывают? – спросила Додошка – Ночью только кошки пищат и дерутся!

– Нет, это невесть что такое! Ты нестерпима, Додошка! Тут ландыши и соловьи, а она – кошки! Я тебя прогоню из «группы», если ты будешь такой дурой, – рассердилась Креолка, сверкнув глазами на сконфуженную девочку.

– Додошка, а ты что будешь делать после выпуска? – обратилась Воронская к толстушке.

– Я, девочки, вы же знаете, ходить буду. Из города в город, из деревни в деревню. Ах, хорошо!.. Учить ребят не надо по крайней мере – это раз. На балы тоже выезжать не надо и корсет надевать – это два; моя тетка-фрейлина, наверное, меня по балам таскать пожелает. И есть можно тогда, как хочешь, а не в завтрак и обед только – это три... Ясно, как шоколад. Чудная жизнь!..

– А Вороненок с Креолкой великими людьми станут: одна – писательница, поэтесса, другая – художница... Успех и лавры... Дивно! Хорошо!.. – прозвучал восторженно голос Хохлушки.

– А я, – проговорила Елецкая-Лотос, – я, медапочки, совсем из мира уйду...

– Как, в монастырь пострижешься? – раздался недоумевающий голос Малявки.

– О, нет! Я уйду в другой мир, куда есть впуск только избранным духам, – продолжало Елецкая, и русалочки глаза ее приняли выражение таинственности.

– Ты хочешь умереть, как Рант? Да? Душка... ты обречена смерти? – широко раскрывая черные глаза и замирая

от предвкушения чего-то необычайного, проговорила Черкешенка.

– Нет, не то... не то...

Ольга порывисто встала. От этого быстрого движения упали и рассыпались длинные пряди ее волос, слабо закрученные на затылке. Она сбросила себе на грудь их пышные волны, отчего лицо ее, окруженное, точно рамой, живыми струйками черных кудрей, стало еще значительнее и бледнее.

– Я устрою себе комнату, большую, без окон и дверей, темную, темную, как ночь... И все завешу коврами... восточными... – глухо звучал низкий грудной голос Ольги, – а посреди поставлю курильницу на треножнике, как в храме Дианы на картине, которую я видела в журнале «Нива»... И голубоватый дымок будет куриться на треножнике день и ночь, день и ночь... И день и ночь я не буду выходить из моей восточной комнаты... И будут тогда слетать ко мне мои сны голубые, духи светлые и могучие, и Гарун-аль-Рашид, и Черный Принц, и святая Агния, – все будут слетаться...

– Ха-ха-ха! – прервал неожиданно вдохновенную речь девушки веселый смех Лиды. – Ха-ха-ха-ха!

Лотос точно проснулась, грубо разбуженная от сна. С минуту она смотрела на всех, ничего не понимая, потом до боли закусила губы и глухо проговорила:

– Удивительно бестактно! Право же, у тебя нет ничего святого, Воронская...

– Елочка, прости!.. Милая, прости!.. – валясь ничком и колотя ногами о соседнюю постель, сквозь хохот говорила Воронская. – Как же духи-то... духи... через что они пролезут к тебе?.. Ха-ха-ха!..

– А в потолке будет дырка, ясно, как шоколад! Неужели же ты этого не понимаешь? – вставила свое слово Додошка.

– Ах, как вы глупы! – произнесла, поднимая глаза к небу, Елецкая. – Но ведь духи бестелесны, они могут пройти даже сквозь иголье ушко... И я не понимаю, чему тут смеяться... – обидчиво заключила она, пожимая плечами.

– Прости, Елочка, но неужели ты еще веришь в Черного Принца и прочую чепуху? – спросила Лида.

– Воронская, молчите, а то я не ручаюсь за себя... Я наговорю вам дерзостей, Воронская... А между тем я так обязана вам... – прошептала Елецкая и закрыла лицо руками.

«Нет, она неисправима», – подумала Лида, и она с сожалением взглянула на подругу.

– Перестаньте спорить, медапочки, – послышался веселый голос Хохлушки, – напоследок мирно жить надо, чтобы в памяти остались хорошие дни, хорошие воспоминания... Ведь разлучимся скоро. Одни на север, другие на юг, или на запад, как сказал Аполлон Бельведерский, разлетимся, точно птицы...

– А ты, Маруся, улетишь в Хохландию свою?

– В Хохландию, девочки! Ах, и хорошо там, милые! Когда бы вы знали только! Солнышко жарко греет, вишневые са-

дочки наливаются, мазанки белые, как невесты, а по вечерам на хуторе парубки гопак пляшут. То-то гарно, гарные мои...

– А что ты там, Маруся, делать будешь? – заинтересовались девочки, и глаза их начинали разгораться понемногу; очевидно, девочки уже мысленно видели перед собою роскошные картины дальнего юга.

– А никому не скажете, девочки, коли выдам вам тайну мою? – и глаза некрасивой, но свежей и ясной, как весеннее утро, девушки зажглись огоньком счастья.

– Не выдадим, Марочка, говори скорее, – зазвенели молодые звонкие голоса.

– Я невеста, девочки... Уж давно моего Гриця невеста... Нас родители с детства сговорили... Хутора наши рядом, так мы ровно брат с сестрой, давно друг друга знаем... Обручены уж с год... А как выйду, так сразу после выпуска и свадьба будет...

– Выпуск!.. Свадьба!.. С год как обручены!.. Господи, как хорошо!..

– А ты любишь своего жениха, Маруся? Марочка, милая, любишь?.. Скажи! – допрашивали девочки, с невольным уважением поглядывая на свою совсем взрослую подружку-невесту, какой она им теперь казалась.

– Ах вы, глупые девочки, – засмеялась Мара, – конечно, люблю... Люблю его дорогого, как земля солнышко любит, как цветок полевою росу... Портрет его ношу который год на груди... Его нельзя не любить... Он честный, светлый,

хороший...

– Покажи портрет, Мара, покажи! – так и всколыхнулись девочки.

С тою же широкой улыбкой, не сходящей с ее румяных губ, Хохлушка вынула небольшой медальон из-за пазухи, раскрыла его, и перед «группой» предстало изображение симпатичного белокурого юноши в белой вышитой рубах с открытым добродушным лицом.

– Это мой Гриц, – не без некоторой гордости проговорила Мара, пряча свое сокровище снова на груди.

– Масальская, ты изменница! Четыре года подряд ты обожала Чудицкого, а сама невестой была какого-то Гриця! Очень это непорядочно, Масальская, с твоей стороны, – шипела Малявка, злыми глазами впиваясь в Мару.

– Не смей злиться, Малявка! Нехорошо! На сердитых воду возят, – рука Воронской легла на плечо девушки. – Неужели же ты понять не можешь, что все наше обожанье, беготня за учителями – все это шутка, безделье, глупость одна... Заперты мы здесь в четырех стенах, ни света Божьего, ни звука до нас не доходит, ну и понятно, каждый человек «с воли» нам кажется чудом совершенства. Чудицкий прекрасный человек, и я его очень уважаю и за чтение его, и за его гуманность с нами, но это не значит, что я люблю его... Мара Масальская тоже. Не правда ли, Мара?

Та, не говоря ни слова, молча обняла ее.

– Воронская так говорит потому, что у нее тоже есть кто-

то. Она любит тоже, – заметила Малявка.

– Ты любишь, Воронская? Любишь? – приставала к сероглазой девочке Рант.

– Люблю, – серьезно и кратко произнесла Лида, и улыбка осветила ее лицо.

– Ага! Вот видишь!.. Видишь!.. Я говорила!.. И какая скрытница!.. Какая «молчанка»!.. От кого таится?! От подруг, от всей «группы»! – хорохорились девочки.

Малявка суежилась и негодовала больше всех.

– Кого же ты любишь, Вороненок? Выкладывай по-товарищески! – снисходительно улыбнулась Креолка.

– Люблю, – проговорила девочка, и насмешливый огонек ее глаз ушел, скрылся куда-то глубоко, – люблю моего папу-солнышко, люблю маму Нелли, люблю сестру Нинушу, братьев, и... и... Симу Эльскую, хоть она и сердится на меня. А больше всех люблю мое солнышко, моего папу. Его люблю больше жизни, больше мира, больше всего! – заключила она пылко и прижала свои худенькие руки к груди. Потом хрустнула длинными пальцами и вдруг рассмеялась счастливо, радостно и задорно, а затем быстро-быстро заговорила:

– Господи!.. Как хорошо!.. Как хорошо жить!.. Любить, быть молодыми, смелыми, полными жизни!.. Так и хочется прыгать, кричать, вопить на весь мир: скоро выпуск! выпуск! свобода!.. Плясать хочется, радоваться! Впереди вся жизнь, целая жизнь! И сколько хорошего можно сделать за всю жизнь, сколько пользы принести окружающим, друзья



мои! Вперед же, вперед, туда, навстречу пользе, радости, жизни!..

И, не будучи в силах удержать кипучий поток восторга, Лида сорвалась с постели Креолки, рванулась вперед и, широко взмахнув неуклюжими рукавами своей ночной кофты, из-под которых как-то беспомощно выглядывали тонкие руки, пошла кругом, быстро и мелко семеня ногами, передергивая хрупкими плечиками, играя потемневшими, разгоревшимися глазами и напевая всем знакомый мотив популярной русской песни.

Экстаз Лиды передался другим. Звучное контральто Креолки, тоненькое, надломленное сопрано Рант и фальшивый, но неимоверно громкий бас Додошки – все подхватили припев, и громкая песня полетела под сводами высокой спальни, разрастаясь и звеня над ней.

Лида теперь уже не приплясывала, а носилась вихрем в танце. Она походила теперь на веселого, бойкого плясуна-мальчишку, живая, быстрая и горячая, как огонь.

– Bravo, Вороненок! Молодец! Душка! – слышались ободряющие голоса ее подруг, и эти возгласы, полные восторга и сочувствия, окрыляли плясунью. Ей хотелось сделать что-то необычайное, из ряда вон выходящее, задорное, смелое.

Разгоревшимися глазами она обвела знакомые, выбеленные известью, дортуарные стены, возбужденные лица своих юных подруг и, быстро вскочив на ближайший ночной столик, завертелась на нем волчком в огневой пляске, неисто-

во выбивая дробь высокими каблучками своих алых, шитых золотом, туфель.

– Будем смелы, как орлы, будем, как рыцари, честны!.. – выкрикнула она звонко и, взмахнув, точно крыльями, полотенцем, которое она накинула на шею, со смехом ринулась вниз, на чью-то ближайшую постель. Потом вновь быстро вскочила на пол и бросилась вперед, вся охваченная тем же молодым задором. Бросилась и... разом замерла на месте с широко раскрытыми глазами.

Перед ней, как из-под земли, выросла небольшая фигурка Симы Эльской.

Шалунья Волька была теперь взволнована, как никогда. Голубые глаза ее сверкали гневом. Обычно розовые щеки были белы, как мел.

Что-то словно толкнуло, словно ударило в самое сердце Лиду. Ей показалось, что сейчас, сию минуту должно случиться нечто ужасное, грозное, неумолимое, как судьба роковая, тем более, что глаза Эльской смотрели на нее с выражением немого укора.

– Ну... ну... – подняв руки и словно защищаясь от незримого удара, предназначенного для нее судьбой, прошептала Лида.

– Вы там, как вас, одержимые и обреченные! Тише! Не беснуйтесь! Слушайте, что я скажу: фрейлейн Фюрст опасно больна... Серьезно... Своим подлым поступком вы утомили ее, – и, махнув рукой, Сима бросилась на свою постель нич-



«Фрейлейн Фюрст больна. Своим подлым поступком вы ее уморили»...

Эта фраза раскаленным гвоздем жгла стриженую девочку с не в меру вспыльчивым сердцем и открытой благородной душой.

«Фрейлейн Фюрст больна – вы ее уморили»... – кровавыми буквами стояло перед глазами, неумолкаемым звоном звенело в ушах. И куда бы ни пошла Лида, всюду сопутствовала ей эта мучительная, грозная, как призрак, фраза.

«Вы ее уморили»... «И она умрет» досказывало пылкое и необузданное воображение девочки.

Уроки кончились, к экзаменационным занятиям ввиду предстоящего говения и праздника Пасхи еще не приступали.

«Хоть бы домой на три дня съездить и то хлеб», – тоскливо слоняясь по опустевшим коридорам (весь институт почти разъехался на пасхальные вакации, за исключением старших, которых не отпускали), мечтала Лида.

Но – увы! – это было невысказано. Шлиссельбург, где служил инженером Алексей Александрович Воронский, в дни весенней распутицы был отрезан от всего мира. Нева едва вскрылась, и куски льда плыли со стремительной быстротой.

Об открытии навигации нечего было и думать, а санный или колесный путь был уже невозможен, от тающего снега образовалась на аршин жидкая и липкая, как месиво, грязь.

Из дома прислали пасхальную посылку, поздравление с предстоящим праздником и обещание приехать к девочке, как только установится река. А пока... Это «пока» терзало и томило Лиду, считавшую себя виновницей несчастья, произошедшего с Фюрст.

Впрочем, не одна Воронская томилась от укоров совести. Весь выпускной класс чувствовал себя не легче Лиды.

«Надо было не допускать этого... Надо было не допускать», – звучало в душе каждой из выпускных.

Одна только Сима-Волька ходила с гордо поднятой головой, и ее молчаливое торжество еще более угнетало девочек.

– Медамочки, что за живодерки наши выпускные, – говорили «вторые», издавна ведущие с выпускными войну «Гвельфов и Гибелинов» за первенствующее место. – Одну «синявку» – Ген в чахотку вогнали, до санатория довели, теперь Фюрстшу взяли измором. И все из-за Воронской! Каждое слово ее – закон. Воронская у них командир какой-то! – и «вторые» ехидно улыбались, встречая «первых» и осведомляясь с утонченной язвительностью о здоровье уважаемой фрейлейн Фюрст.

«Первые» нервничали от этого еще больше, и тоскливая дума угрюмой тучей повисла над классом выпускных.

К исповеди, назначенной в страстную пятницу, готови-

лись вяло, в церкви стояли рассеянно, пели на клиросе плохо, о выпуске говорили меньше. Словом, всех угнетала тоска.

Впрочем, Додошку она не угнетала. Додошка, в силу ли непосредственности своей натуры, в силу ли молодости (ей едва минуло шестнадцать лет), не задумывалась подолгу. В ее душе было, по выражению Воронской, все гладко, как стекло.

Додошка любила вкусно покушать, любила детские книжки с хорошим концом, где никто не умирает, любила романы, где фигурировала свадьба, а еще лучше – две сразу или три. Спиритизмом и сеансами Додошка увлекалась потому, что это было модно. А Додошка любила делать то, что делали другие, – иными словами, на языке институток, «собезьянничать с других».

Теперь новая забота, новая мысль забрела в голову Додошки. Девочка слышала признание хохлушки в том, что у нее есть жених, и маленькая «обезьянка» захотела удивить класс точно так же, как и Мара. Чем она, Додошка, хуже Мары и почему у нее не может быть тоже жениха?

Жених! Это так хорошо звучит, так гордо, так веско! У малышей-девчонок не может быть женихов. Они только у взрослых барышень. А стать как можно скорее взрослой барышней – о! – это была тайная и заветная мечта Додошки.

«Вот удивятся-то наши, если им сказать, что я тоже, как и Мара, выхожу замуж, что я невеста, – мечтала Додошка – чудо как хорошо... Но только у меня-то уж жених не бу-

дет, точно простой мужик в белой вышитой рубашке. Нет! На нем непременно должен быть блестящий мундир лучшего гвардейского полка, и усы, и шпоры; непременно усы. Безусый жених – мальчик и ничего не стоит... Нет, непременно надо шпоры и усы»...

И Додошка так увлеклась этой идеей, что уже видела себе невестой в белом платье с тюлевой вуалью и веткой флерд'оранжа в волосах, а рядом – статного высокого красавца с усами а la Тарас Бульба, в блестящем гвардейском мундире.

Вечером, после того как дежурившая m-lle Оттель, пожелав девочкам спокойной ночи, «закатилась» в свою комнату, Додошка дернула за одеяло свою соседку Воронскую и без всяких прелюдий объявила во весь голос:

– А у меня тоже есть жених. И я тоже выхожу замуж...

– Отстань, Додошка!.. Я хочу спать... И что ты врешь? Какой у тебя жених? Может быть, пряничный гусар из фруктовой лавки? – насмешливо отозвалась Лида, которую прервала ее неугомонная соседка на печальных, докучных мыслях о больной Фюрст.

– У Додошки жених! Недурно! – рассмеялась на своей постели Малявка. – Смотри не съешь его, Додик, не проглоти, как ты глотаешь леденцы.

– Не остроумно, совсем даже плоско, – разозлилась Даурская и уже хнычащим голосом добавила:

– Ей-Богу, честное слово, у меня есть жених... Красивый, в мундире, со шпорами, усы в струнку...

– Даурская, не приемли имени Господа Бога твоего всеу. Во время говения грешно божиться и врать, – отозвалась Карская со своей кровати.

– Ну уж ты молчи, священник в юбке, – чуть не плача от злости, огрызнулась Додошка. И тотчас же подхватила, горячась:

– И свинство, собственно говоря, это: раз у Мары есть жених и у меня тоже быть может. И я могу замуж выйти... Ясно, как шоколад...

– Даурская, молчи!.. Ты врешь, и это тоже, как шоколад, ясно... А впрочем, завтра ты покажешь нам карточку твоего жениха, а теперь дай спать... Не до болтовни сегодня... – и креолка положила руку под голову, всеми силами пытаюсь заснуть.

Вскоре желанный сон обвеял спальню.

Заснула тревожным сном и Лида Воронская. Заснула и Додошка с мыслью, где достать портрет воображаемого жениха.

Было раннее утро. Солнце врывалось в окна. Институтки, администрация, прислуга крепко спали. Только в полутемном нижнем коридоре, где помещалась квартира начальницы, селюли, перевязочная и лазарет, высокий, атлетического сложения ламповщик Кузьма, или Густав Ваза, по прозвищу институток, заправлял лампы. С грязной тряпкой в руках, в грязном переднике, с всклокоченною со сна шевелюрой он имел вид не то морского пирата, не то бандита.

Густав Ваза усиленно тер лампы суконкой и мурлыкал что-то себе под нос. Он был так увлечен своей работой, что не заметил, как толстенькая девушка в зеленом, кое-как застегнутом платье, с теплым платком, укрывавшем ее с головой, осторожно приблизилась к нему и встала подле.

Кузьма очнулся, только когда девочка тронула его за плечо:

– Густав Ваза, то есть Кузьма... я хотела сказать, не пугайтесь, пожалуйста, я – Додошка... то есть Даурская... вы меня знаете, Кузьма... Я – выпускная...

– Как же, как же, барышня, мы всех выпускных лично знаем, – любезно осклабил свои желтые зубы Кузьма, которому изрядно перепало на чай от старших воспитанниц, посылавших его в лавочку за мятными лепешками, леденцами и чайной колбасой.

– Ну вот видите... – снова смущенно заговорила Додошка, – ну вот видите... Я рада, что вы знаете меня, Густав Ваза, Кузьма то есть... У меня к вам просьба, Кузьма. Видите ли, я выхожу замуж, то есть нет... не выхожу, а как будто выхожу... Это я подругам так говорю только, подшучиваю над ними... И, чтобы они поверили моим словам, надо им показать портрет моего жениха, то есть не жениха, а как будто жениха, непременно. И надо такой портрет купить в фотографии за пять копеек. Больше у меня нет денег. – увы!.. – только гривенник остался. Вчера я целый рубль проела. Пять себе, Кузьма, за услуги возьмите, а за пять портрет купите...



Ну же, хорошо?.. Кажется, ясно, как шоколад... Поняли меня?

Додошка от нетерпения уже заметно начале горячиться.

– Только вы мне офицера купите и непременно в шпорах и усах и в военном мундире, – заключила она.

– Офицеров карточки за пяточок не продаются, мамзель Даурская, – уныло произнес Кузьма, покачав своей кудлатой головой.

– Неужели?! Вот жалость-то! – чуть не плача всплеснула руками Додошка. – Как же быть-то теперь, Кузьма?

– Да уж и не знаю, право, – и тут ламповщик, лукаво усмехнувшись, проговорил таинственно: – карточку-то я вам обязательно представлю, мамзель Даурская, в этом не сомлевайтесь... Я вам свою принесу...

– Как свою? – воскликнула Додошка.

– Да вы и не узнаете, мамзель, и никто не узнает, – успокоил ее Кузьма. – Я на карточке молодой. Унтером на ней как раз снимался, в новом с иголки мундире, во всем аккурате. Шик что ни на есть. Настоящий жених. Увидите сами, барышня, хоть сейчас под венец...

– А что такое унтер, Кузьма? – заинтересовалась Додошка.

– Это, мамзель Даурская, только вот-вот что не офицер, почти что прапорщик, либо фельдфебель... И почет ему от солдат, как старшему, значит. Почти что офицер, стало быть... И красавец я был тогда какой!.. Увидите, барышня, что моя карточка чудно за жениха сойдет... Никто не дога-

дается. Подумают все, что и всамделишный жених. Ей-Богу-с!..

– Ах, как хорошо! Голубчик Кузьма, спасибо, – вострепнулась Додошка. – Давайте же вашу карточку... Поскорее давайте сюда!

– Не извольте сумлеваться, барышня. Ее со мною нет-с, а вы себе спокойно почивать до звонка ложитесь, а я пока портрет-то почищу; он мухами малость засижен; я вам его в ящичек пюпитра классного и положу, – торопливо говорил Кузьма.

– Ах, отлично! – восторгалась Додошка, – вы, Густав Ваза, то есть Кузьма, дивный человек. И вот вам десять копеек на чай, а это вашим детям, – и, живо запустив руку в карман, Додошка извлекла оттуда целую кучку леденцов и высыпала их в черную, шершавую руку ламповщика. – Ух! Гора с плеч! – облегченно вздохнула Додошка и, тотчас же вострепенувшись, опасливо заметила:

– А вы, Кузьма, там, на портрете-то в мундире и с усами? Наверное?

– Уж не извольте беспокоиться, барышня, самом что ни на есть аккурате, а за угощение и милость вашу благодарим покорно, – успокоил ее ламповщик.

– Так в ящик положите, Кузьма, куда леденцы кладете, на то же место... Вся надежда на вас и на карточку с мундиром, – оживленно проговорила Додошка и, шурша тяжелым камлотом платья, опрорхметью помчалась по лестнице в верх-

ний этаж.

Здесь, не раздеваясь, она бухнулась на постель и до самого звонка сладко проспала.

Наступивший день принес с собой новый ворох впечатлений, будничных и серых, острых и глубоких, отражающихся как в зеркале на юных лицах выпускных.

Но всех значительнее, всех необыденнее было лицо Додошки. Торжествующее выражение не покидало ее.

– Боже! как ты глупо выглядишь сегодня! – не утерпела уязвить свою однокашницу Малявка, когда они обе, после утренней молитвы в столовой, поднялись в класс.

– Пантарова, вы оскорбляете меня и за это должны перед исповедью попросить прощения, – невозмутимым тоном проговорила Додошка и затем, торжествующими глазами обведя весь класс, положила руку на крышку своего тируара и произнесла с тем же взором триумфаторши, сияющим и счастливым:

– Сейчас я покажу вам моего жениха...

– Mesdames, идите смотреть Додошкиного жениха! – зазвенел голосок Рант, и девочки кинулись со всех ног к пюпитру Даурской.

Последняя, ради торжественности момента, выдержала подобающую моменту паузу и, зажмурившись предварительно, широким жестом откинула крышку тируара.

– Ай! – пронзительно в тот же миг взвизгнула Малявка и невольно попятилась назад.

– Вот так страшилище! Откуда ты выкопала такого? – вырвалось у Креолки.

– Да ведь это солдат! Простой солдат! – заливалась смехом маленькая Макарова.

Додошку даже в пот бросило от этого смеха. Она открыла глаза, взглянула и сама отскочила от портрета, обеими руками отмахиваясь от него.

На грязной, выцветшей от времени фотографии стоял фертом, одной рукой подпершись, неуклюжий солдат в уланском мундире с вытарашенными глазами, с огромными усами, придававшими ему свирепый вид. К довершению всего по всему лицу доблестного унтера шли черные крапинки, происхождение которых раньше всех поняла Додошка: ламповщик Кузьма не солгал – его изображение было изрядно засижено мухами.

– Стойте, mesdames!.. Он мне напоминает кого-то... – Вали Берг, брезгливо схватила злополучную карточку двумя пальчиками, стараясь припомнить, где она видела это победоносное лицо.

Зина Бухарина заглянула через плечо Вали и так и прыснула со смеху:

– Да ведь это ламповщик Кузьма!.. Его усы, его лицо... Только в мундире солдата... Неужели, Додошка, ты выходишь за ламповщика Кузьму?

– Ни за кого я не выхожу!.. Убирайтесь!.. А Кузьма дрянной обманщик... Обещал интересную карточку офи-

церскую, он... он... негодай!.. А я-то... я-то... ему и леденцов, и гривенник!.. Гадость, мерзость так обманывать людей!.. И отстаньте вы все от меня, пожалуйста!.. Не понимаете разве, что мне над вами подшутить хотелось... и... и... – тут Додошка, охваченная порывом злости, вырвала из рук Вали злосчастный портрет и разорвала его на мелкие кусочки.

Ее оставили в покое, снизойдя к ее угнетенному состоянию, но все же вплоть до самого выпуска кличка «ламповщицы» так и осталась за ней.

Уныло, по-«постному», звучал колокольчик, призывающий в церковь.

– «Первые», исповедываться! Батюшка ждет! – заглянув в класс выпускных, просюсюкала старая, кривая на один бок, всем и всеми всегда недовольная инспектриса.

– М-lle Ефросьева, простите нас, – послышался голос из толпы девочек и тотчас же зазвенели вслед за ним хором другие голоса:

– Да! Да! Простите нас! Мы все виноваты перед вами!

– Ах, ты, Господи! Я-то ее иначе как кочергой никогда и не называла... – шепнула старшая из сестричек Пантаровых своей соседке Дебицкой.

– Господь Отец наш Небесный и я прощаем вас, и впредь старайтесь быть благонравны, – просюсюкала, размягченная общим смирением, инспектриса.

Спешно выстроившись в пары, девочки стали поднимать-

ся по «церковной» (она же и парадная) лестнице в третий этаж.

Двери небольшого институтского храма были раскрыты настежь. Суровые лица святых угодников глядели с иконостаса прямо навстречу чинно входившим в церковь исповедницам. Милостиво и кротко сияли глаза Божией Матери среди полутьмы, царившей в храме. А на правом клиросе стояли темные ширмы, и кто-то невидимый, великий, милостивый и страшный в одно и то же время присутствовал там.

Лида Воронская прошла к своему обычному месту на левом клиросе, в свой «уголок», где находилась северная дверь алтаря с изображением святителя Николая. Лида открыла молитвослов и опустила на колени, в ожидании своей очереди идти на исповедь. Но молиться она не могла. Не было в душе девочки того обычного спокойствия и мира, который посещал ее в подобные светлые и торжественные минуты в прошлые года.

Совість, этот неумолимый ночной сторож с его доскою, бросающий прямо в сердце удары своего молотка, не отступал от нее ни на минуту.

«Как можешь ты предстать пред Иисусом Невидимым, когда нет прощения и мира в душе твоей?» – выстукивали эти невидимые молотки в сердце Лиды.

«Нет прощения и мира... – как эхо повторяла испуганно и горько душа Воронской, – нет мира, потому что я не испросила прощения, не примирилась с тою, которой причинила

зло... Да, да, не примирилась с Фюрст, и нет поэтому покоя и радости в душе моей... Но как же сделать это? Теперь, когда обиженная немка находится вне института, как сделать это?» – тоскуя и волнуясь, пытливо спрашивала свое внутреннее «я» бедная девочка.

С бьющимся сердцем, со смятенной душой Лида подняла глаза на образ угодника Божия, умоляя об ответе на свой мучительный и скорбный вопрос. Строгие очи Чудотворца, казалось, глядели ей прямо в душу. Суровые губы точно были сжаты с укором. Весь лик святителя словно предостерегал от греха.

Лида молила страстно и напряженно:

– Господи, помоги!.. Отче Никола, помоги!.. Испроси мне прощение у Бога! Я грешница великая!.. Прости!.. Прости!.. Прости меня!.. – и она замерла на минуту.

Вдруг она поняла.

«Знаю, что делать, знаю... Надо осознать свою низость, свою вину... Надо раскаяться просто и чистосердечно... И я раскаюсь... Я сознаюсь... Надо пойти только туда, где она жила, мучилась и страдала... Надо пойти в ее комнату, встать на колени и с земным поклоном сказать в этой пустой комнате: „Фрейлейн Фюрст, голубушка, родная, мы виноваты... я виновата больше всех... Я злая, ничтожная, гадкая, но простите меня, ради Бога, простите меня, я каюсь, сожалею, я так страдаю“».

Мысли в голове Лиды мчались быстро, горячо. Лида под-

нялась с колен, оглянулась затуманенным взором вокруг.

Слава Богу! Еще есть время. За ширмочки исповедальни только что прошла Арбузина, вторая по алфавиту. До «В» – до нее, Воронской, еще далеко. «Успею... – мысленно говорила себе девочка. – Лишь бы только комната, „ее“ комната, была открыта, только бы открыта была!.. Если открыта комната фрейлейн Фюрст, значит, мой поступок угоден Богу, если комната на ключе, то... то...»

Она выскользнула из церкви, промелькнула быстрой тенью в коридор, а через минуту уже стояла у порога комнаты фрейлейн Фюрст. Лида робко коснулась дверной ручки. Сердце замерло на миг в груди. И почти тотчас же тихий ликующий возглас сорвался с трепещущих губ:

– Слава Богу! Дверь открыта!

С тем же трепетом девочка вошла в комнату, маленькую, чистенькую, с убогой мебелью и дешевенькой драпировкой, отделяющей одну половину крошечного помещения от другой.

Чувство стыда обожгло душу Лиды. Щеки девочки залило румянцем.

– Бедная она, жалкая... И комнатка бедная, жалкая, и шпионка, то есть Фюрст, такая же... А мы то... а я то!.. Господи! Господи! Прости меня, – невольно вслух прошептали ее губы.

Внезапно глаза девочки остановились на круглом портрете, висевшем на стене и изображавшем молодую девушку,



некрасивую, худенькую, с гладко зачесанными, «зализанными», по общепринятому у институток выражению, волосами, в скромном черном платье и ослепительно белом воротничке.

«Это она... фрейлейн Фюрст в молодости», – догадалась Лида, и она неожиданно для самой себя опустилась на колени перед портретом и отвесила ему земной поклон:

– Фрейлейн, милая, дорогая, простите меня!..

Тут слезы брызнули из глаз Воронской и глухое судорожное рыдание огласило маленькую комнатку.

Вдруг легкое, как сон, прикосновение вернуло Лиду к действительности. Перед ней стоял прелестный белокурый мальчик лет восьми, с длинными локонами, вьющимися по плечам. Голубые, чистые, но серьезные, пытливые, как взрослого, глаза, ангельское личико, бедный, но чистенький и тщательно заплатаанный костюмчик, ветхие, порыжевшие от времени сапожки – все это невольно располагало в пользу мальчика.

Появление его было столь непонятно и неожиданно для Лиды, что в первую минуту она не могла произнести ни слова.

А мальчик стоял, спокойный и серьезный, как настоящий маленький философ. Видя, что большая девочка смотрит на него как на чудо, удивленно моргая, мальчик придвинулся к ней поближе и смело взглянул на неожиданную гостью.

– Я Карлуша, – проговорил он тоном взрослого. – Я ма-

ленький Карлуша, – повторил он, – и пришел вместе с мамой за вещами тети Минхен. Мама пошла к тете, которую называют госпожой начальницей, а меня проводили сюда... Мама что-то долго разговаривает с чужой тетей... Я устал ее ждать и прилег на кровать тети Минхен... и заснул, а ты пришла, стала плакать и разбудила меня. Зачем ты плачешь, такая большая девочка? Нехорошо плакать. Слезами ведь все равно горю не поможешь... Разве кто-нибудь обидел тебя?.. Но если и обидел, то все равно плакать не стоит...

– А ты никогда не плачешь, Карлуша? – утерев наскоро слезы и положив руку на головку маленького философа с голубыми глазами, спросила Лида.

– О, нет! И я плачу, но только очень редко. Вот когда тетя Минхен пришла к нам и заболела, тогда я горько плакал. Теперь ей лучше, тете Минхен... А было очень плохо. Ее обидели, тетю Минхен, обидели злые, нехорошие девочки. Тетю Минхен обидели, золотую мою тетечку, добренькую мою... Тетя Мина всю жизнь на нас работает, на маму и на Каролиночку, на Фрица больного, на Марихен и на меня. Мама ведь все больна и служить не может... А мой папа давно умер. Мы очень бедные... И живем только на тетечкины деньги. Что тетя Минхен заработает, то нам и отдает. А теперь она места лишилась из-за них, нехороших девочек... И заболела опасно... Бедная тетя Минхен, милая!.. Мама говорит, что теперь она поправится, может быть, скоро... А было плохо. Каролиночка даже ночью за доктором бегала... И все из-за

злых девочек. Они выгнали тетечку. Мамочка тоже больная, и Фриц, и все мы теперь голодные сидим. Уже две недели не варили обеда, только кофе да хлеб... Но это все ничего... А вот что тете Минхен было плохо – это хуже всего... Уж скорее бы поправилась она... Как ты думаешь, девочка, скоро поправится тетя Минхен?

Лида схватила за плечи мальчика, придвинула его к себе и почти с мольбой прошептала:

– Она... фрейлейн Фюрст... выздоравливает?.. Ей лучше теперь?..

– Лучше... – отвечал своим серьезным голоском мальчик, – теперь ей стало лучше... Ах, только бы она поправилась!.. Она так добра, тетя Минхен, к нам... Мы ее так любим... И все ее любят – и квартирная хозяйка, и соседи... А злые девочки не любили ее... Они мучили ее... они изводили... а та... самая злая из них... хуже всех... О ней тетя все упоминала в бреду... Все просила злую девочку уйти от нее, не мучить...

– Уйти, не мучить!.. – повторила Лида и с упавшим сердцем спросила: – А как ее звали, ту... самую злую? Не помнишь ли, милый?

Мальчик потерял свой лобик, потом взглянул в угол напряженно, сиюсья припомнить, и вдруг вскрикнул:

– Вспомнил... Вспомнил... Самую злую из девочек, про которую бредила в беспмятстве тетя, звали Воронская...

С тихим стоном Лида отпрянула от удивленного мальчи-

ка.

Она бросилась из комнаты, помчалась назад.

По-прежнему двери институтского храма были раскрыты настежь. По-прежнему сурово глядели с золоченого иконостаса лики святых, чинно с молитвословами в руках ждали юные исповедницы своей очереди.

Быстро отыскав Симу Эльскую среди них, Лида бросилась к ней, схватила ее руки и проговорила отрывисто:

– Ты была права в истории с Фюрст!.. Ты одна!.. О Господи, как я несчастна!

\* \* \*

Прошла исповедь. Прошел, вея чем-то светлым и радостным, день причастия. Выносили плащаницу. Пели «разбойника» посреди церкви. Прошла Светлая Христова заутреня с ее колокольным звоном, с ликующими голосами выпускных на клиросе, выводивших «Христос Воскресе». Прошла пасхальная неделя. Прошли короткие, как сон, праздничные каникулы. Наступало тревожное время. Инспектор классов то и дело заходил к старшим, записывал на доске расписание экзаменов, наскоро составлял программы и подавал несложные советы, как вести себя в актовом зале, как «отвечать билеты», и уходил, подбадривая выпускных, приунывших от предстоявших им «ужасов».

Стаял последний лед на Неве, зацвели в большом инсти-

тутском саду черемуха и сирень, застрекотали кузнечики в саду, зачирикали отъевшиеся после зимней голодовки воробьи, слетелись зяблики и трясогузки. Ожил старый сад, зазеленела, запестрела, заликовала в нем жизнь. Зашелестели тополя и березы.

Пришла весна – наступили экзамены, началась зубрежка. Зубрили усердно, много, неистово. Зубрили в классе, в зале, в дортуаре, в коридоре, на коридорном окне, единственном в своем роде, с широчайшим выступом подоконника. Зубрили на лестницах, в свободных селюльках, в «долине вздохов» и в саду.

Особенно зубрили в саду. Пользуясь солнечной погодой и апрельским теплом, девочки не выходили из сада. Они «разбивали шатры» под тенью развесистых дубов и берез, то есть попросту растягивали зеленый казенный платок между ветвями деревьев; два других платка спускали в виде пологов и, набившись в этот полутемный самодельный шатер, усердно слушали то, что рассказывала «учительница», то есть более знающая, более сильная воспитанница, набравшая себе целую группу учениц.

Такие «шатры» разбивались не только в саду, но и в классе, при помощи аспидных досок, географических карт и прочего инвентаря.

Зубрили с утра до завтрака, с завтрака до обеда, с обеда до поздней ночи. С рассветом засыпали, чтобы подняться с первыми лучами солнца. Девочки ходили усталые, с синевой

под глазами, но с веселым взором. Решили свято исполнить данное слово начальнице – «отличиться на славу» и сдать экзамены на ура.

Утро, весеннее, душистое. В классе суета, шелест переводимых страниц.

Первый экзамен – Закон Божий. Экзамен и страшный, и легкий в одно и то же время. Батюшка, отец Василий, добр, и потому не страшно. Но приедет архиерей, в черной рясе и белоснежном клобуке, будет спрашивать перевод славянского текста тропаря, кондаки – и это уже страшно. Девочки дрожат заранее. Додошка вытащила из своего тируара кусочек артоса, завернутый в шелковый лоскуток, молитву из Арзамасской обители, образок с Валаама, маленький кипарисовый крестик, тоже привезенный из какого-то монастыря, и, разложив на пюпитре эти сокровища, шепчет деловито:

– Валаам – за одну щеку, кипарисовое Распятие – за другую, а под язык – святой артос... Непременно артос под язык... Тогда все до капельки расскажу по билету без запинки...

– Mesdames, Аполлон Бельведерский «катит» по коридору. Что за притча? – объявила, вбегая в класс Мила Рант.

– Да он ошибся, душки. Вообразил, что его экзамен, – предположила Пантарова-первая, одна из обожательниц Зинзерина.

– Ах, нет, просто его ассистентом на «Закон» назначили, – сделала новое предположение ее сестра Малявка.

– Пантарова-вторая, не будь, душка, дурой: Аполлон Бельведерский – язычник, а где это видано, чтобы язычников на христианский Закон Божий пускали! – пискнула Додошка.

Малявка хотела было «срезать» свою давнишнюю противницу, но не успела. На пороге уже стоял математик и, неистово краснея по своему обыкновению, собирался что-то изречь.

– Что вы, Николай Васильевич? Сегодня не ваш экзамен, Николай Васильевич. Вы, верно, смешали, – посыпалось на смущенного Аполлона со всех сторон.

– О, нет, mesdames, я... я помню... я очень хорошо помню, что у вас сегодня Закон Божий, но... но... – отвечал неуверенно учитель, потирая в смущении руки, – но так как следующий экзамен мой, то я и пришел попросить вас, девицы, начать готовиться к нему завтра же и поусерднее, так как на этот экзамен, с разрешения начальства, приглашен мною, в качестве ассистента, мой друг, один молодой ученый математик, блестяще окончивший в заграничном университете математический факультет. Я пришел попросить вас, девицы, как можно внимательнее отнестись к подготовке по арифметике, геометрии и начальной алгебре... Покажем ассистенту, что и русские девицы...

– Карета архиерея на двор въезжает! Вниз, вниз, mesdam'очки, скорее! – послышался взволнованный голос дежурившей в этот день m-lle Эллис.

Девочки, уже не слушая Зинверина, гурьбой, толкая друг друга и злосчастного Аполлона Бельведерского, выбежали из класса. Стремительно сбежав с лестницы, рванув тяжелую дверь швейцарской, они впопыхах влетели в вестибюль, как раз в ту минуту, когда противоположные входные двери распахнулись настежь и стройная, высокая фигура архиерея в белом клобуке появилась на пороге.

– Душки, какой красавец! – захлебываясь от восторга прошептала Рант.

– Мила, как тебе не стыдно! Здесь благоговеть надо, а ты – «красавец»! На том свете взыщется! – и Карская благоговейно поникла головой.

– «Исполати деспота»... – дружным хором запели выпускные, окружая высокопреосвященного, и, не смолкая ни на минуту, стали подниматься по лестнице, у перил которой выстроились шпалерами младшие классы.

Архиерей подвигался медленно, ежеминутно осеняя широким крестом склонившиеся перед ним детские головки.

Сияющие, взволнованные, одетые в это утро по-праздничному в тонкие батистовые передники и пелеринки, «первые» почувствовали себя героинями дня.

На них смотрел весь институт, им завидовали, за них переживали.

У самых дверей залы выстроились маленькие «сеньмушки». Обожательницы Симы Эльской с нескрываемым восторгом смотрели на свою «дусю», выводившую своим звуч-



ным контраalto «Исполати деспота» в общем хоре.

– Сахарова, который я получу билет? – на ходу спросила Эльская у своей самой ревностной поклонницы, Сони Сахаровой, очаровательной девятилетней девчурке с васильковыми глазами.

– Тот, который лучше всего знаете, m-lle дуся... – отвечала, не сводя влюбленного взгляда со своего кумира, девочка.

– А мне который, Сахарок? – с улыбкой осведомилась Воронская.

– Первый, дуся, вам первый, – также восторженно откликнулась седьмушка.

Вошли в зал. Широким крестом осенил преосвященный зеленый экзаменационный стол и стулья, выстроенные полукругом посреди огромной, двусветной комнаты.

Старжевская выступила вперед и прочла дрожащим голосом «Препоблагий Господи».

После молитвы архиерей опустил в приготовленное для него кресло. Вокруг него разместилось начальство, «свой» священник, дьякон и «чужие» экзаменаторы из духовенства. Инспектор классов, Тимаев, взял со стола толстую пачку билетов и стал, как карты, тасовать ее. Потом раскинул их веером по зеленому сукну и, взяв карандаш в руки, наклонился над экзаменационным листом, исписанным фамилиями воспитанниц.

Вызывали по порядку. По три воспитанницы выходили сразу, подходили к «роковому столу», отвечивали по пояс-

ному поклону преосвященному и брали билет.

Сначала отвечали робко, боясь поднять взгляд на того, кто сидел в центре и, внимательно глядя умными, мягкими глазами, слушал взволнованные детские ответы.

– Наталия и Мария Верг, Лидия Воронская... – послышался громкий голос Тимаева.

Лида поднялась со своего места. Человек в белом клобуке и монашеской рясе не казался ей страшным. Напротив, нечто непонятное влекло ее к нему. Отечески ласковые глаза, лицо аскета, прекрасное величием и смирением, – все в нем располагало впечатлительную детскую душу.

«Вот если поведать ему сейчас о том, что я сделала со „шпионкой“, – вихрем пронеслось в мыслях Лиды, – простил бы он разве меня?»

Эта мысль жгла и томила девочку, не давая ей сосредоточиться на билете. А билет показался знакомым, из истории церкви: о взгляде Петра I на преобразование русской церкви, ее реформы, Степан Яворский и Феофан Прокопович, – одним словом совсем легкий, «хороший билет».

Маруся Верг давно закончила отвечать, чинно поклонилась архиерею и, подойдя к нему, осенившему крестом ее склоненную головку, поцеловала, по обычаю, белую руку преосвященного.

Теперь очередь отвечать была за Лидой.

Она выступила вперед, одернула пелеринку, открыла рот и... замялась. Слова положительно не шли ей на язык. Мыс-

ли путались. Лицо стало белым как бумага, а сердце усиленно выстукивало:

«Ты грешница... Великая грешница... и ты не смеешь взглянуть в лицо этому человеку, далекому грешных помыслов, которые жили и живут в тебе...»

«Да, да, – мысленно согласилась Лида, – надо „искупиться“, надо очиститься, надо громко признаться во всем: так и так, я сделала дурное дело, из-за меня человек терпит нужду и горе... я... я... Да, да, я сделаю это... Подниму голову, взгляну на „него“, и если глаза его будут ласковы, так же отечески добро посмотрят на меня, как на Налю; на Марусю Бутузину и прочих, – я прощена... Я...»

– Что же, начинайте отвечать, Воронская! – прервал внезапно мысли Лиды голос инспектора.

– Сейчас... – сказала Лида и подняла глаза на преосвященного.

Доброе-доброе лицо, улыбающиеся с отеческой лаской глаза – вот что увидела Лида.

«Прощена!...» – вихрем пронеслось в мыслях девочки, и она по привычке тряхнула стриженной головой.

– Воронская, не будьте мальчишкой, – чуть слышно прошипела Ефросьева, скромно приютившаяся на конце стола.

Но Лида уже не слышала. Быстро, взволнованно, почти без запинки, она точно выбрасывала из себя даты, события и факты.

Феофан Прокопович, синод, проповеди и советы ново-

го помощника великого преобразователя, новый церковный регламент – все это сыпалось без передышки из уст разом воспрянувшей духом девочки.

Лида говорила, а добрые глаза архиерея с ласковым вниманием смотрели на нее.

Наконец она закончила.

– Похвально, деточка, очень похвально! – произнес преосвященный.

Не чуя от радости ног под собою, Воронская очутилась перед ним со склоненной головой. Тонкие пальцы коснулись ее кудрявой головки. Губы Лиды приникли к бледной сухой руке с каким-то радостным благоговением.

– Господь с тобою, дитя!.. – услышала она ласковый голос, и сердце ее мигом наполнилось чувством любви ко всем.

Ликующая, счастливая вернулась она на место.

– Воронская, страшно у зеленого стола? – Додошка вытаращила округлившиеся от ужаса глаза, и, прикрыв рукою рот, что-то сунула туда незаметно.

– Вера Дебицкая, Евдокия Даурская, Евгения Дулина... – послышался новый выклик инспектора.

Теперь первая и последняя ученицы очутились рядом. Вера Дебицкая, не спеша, плавно выводила свои ответы. Додошка стояла тут же, малиновая, и усиленно пережевывала что-то.

– Додо, брось ты свои леденцы хоть в такую минуту, – шепнула ей Женя Дулина.

Но Додошка только молча повела на нее выпученными глазами.

– Ваша очередь, девица Даурская, – послышался голос «своего» батюшки, отца Василия.

Он был сегодня в темно-синей шелковой рясе, сшитой к экзамену, и особенно торжественно выглядел в ней.

Додошка неопределенно крякнула, потом незаметно перекрестилась под краешком пелеринки и невнятно стала читать крещенский канон.

– Ничего не понимаю... Что, сия девица всегда так говорит невнятно? – обратился «чужой» священник-ассистент к отцу Василию, на что институтский батюшка только недоумевающе заморгал.

– Девица Даурская, что с вами? – почти с отчаянием в голосе спросил он.

Но Додошка еще гуще покраснела и, вместо ответа, продолжала по-прежнему, не разжимая рта, едва выговаривать какие-то непонятные слова, похожие на речь чревовещателя.

Преосвященный смотрел на смешную девочку и казался удивленным.

– Не больна ли? – осведомился он заботливо.

– Не больна ли ты? – повторила, глядя в глаза Додошке, и начальница.

– Ммммм... – неопределенно промычала та.

– О, я знаю что это... – неожиданно послышался по адресу тапан свистящий шепот Ефросьевой, – эта Даурская

ужасная сладстена, лакомка, и во рту у нее наверное леденцы.

– Леденцы! – отозвалась татап эхом. – Сейчас же выкинь изо рта все, что там есть!..

Додошка точно обезумела. Из красной стала бледной, как платок, губы дрогнули и слезы двумя фонтанами брызнули из глаз.

– Этого нельзя!.. Это святотатство!.. Во рту святое, божественное!.. – не разжимая рта, пробурчала она.

– Что ты говоришь? Какой вздор!.. – строго произнесла начальница, – изволь сейчас же...

– Но! ей-Богу, честное слово!.. – начала было Додошка, но тут же поперхнулась и отчаянно закашлялась. Полные губки девочки раскрылись и из ее рта вылетел образок с Валаама и миниатюрный кипарисовый крестик.

– Ну вот!.. Теперь и нет ничего!.. – прошептала с отчаянием в голосе Додошка и стремительно бросилась поднимать свои сокровища.

Это было так неожиданно и курьезно, что даже преосвященный хмыкнул.

Отец Василий, едва ли не более смущенный, нежели сама Додошка, стал наскоро пояснять девочке:

– Священные предметы существуют не для того, чтобы применять их столь несвоевременно и таким несоответствующим образом, а чтобы с полным благоговением относиться к ним.

Додошка слушала, хлопала глазами и, казалось, не пони-

мала ничего.

Ее стали спрашивать по билету. Против ожидания Даурская отвечала очень сносно.

Преосвященный отпустил ее на место, предварительно благословив девочку.

Экзамен продолжался до двух часов. Потом прочли баллы, пропели снова «Исполати деспота» и проводили преосвященного до самой кареты.

– Первый экзамен смахнули! Ура! – крикнула весело Сима. – Одним пальцем мы уже на воле...

– Не смейте кричать, как уличный мальчишка! – точно изпод земли вырастая, зашипела на нее инспектриса.

– Не буду, m-lle, – преувеличенно покорно проговорила Эльская, «окунаясь» перед Ефросьевой, и, едва дав ей отойти, прибавила звонким фальцетом, каким выкрикивают бабы, продавая швабры по дворам и улицам:

– Кочерги хорошие!.. Кому надо кочергу, покупайте, голубчики, возьму недорого!.. Покупайте, кому нужно!.. Кочерги, кочерги!..

Ефросьева, отлично знавшая свое прозвище – «кочерга», данное ей институтками, закипела от гнева и уже повернула назад, но как раз в эту минуту в классе выпускных появился отец Василий и обратился к девочкам:

– Спасибо, девицы! Отличились перед преосвященным... Покорно благодарю... Вот Даурская только... Священные предметы в рот, девицы, брать не полагается... А так все хо-

рошо... Все хорошо... И даже отлично!



# **ГЛАВА 6**

## **Плита св. Агнии. – Сюрприз. – Математика. – Неожиданное объяснение**

Едва сдали экзамен Закона Божия, как приступили к усердной подготовке к математике. Шатров не раскидывали. Группы учащихся сосредоточивались около досок, на которых писались теоремы, рисовались геометрические фигуры, решались задачи. Досок всего было четыре, групп же, готовившихся к экзамену математики, пять. Пятой группе, где «учительницей» была Вера Дебицкая, а ученицами – Крелка, Сима Эльская, Додошка, Хохлушка, Елецкая, Малявка, Лида Воронская и Черкешенка, пришлось оставаться без доски.

Но группа Дебицкой не унывала; вместо классной доски ей послужила плита святой Агнии.

Это была совсем особенная плита, невесть откуда попавшая на последнюю аллею институтского сада и имевшая самое романтическое, легендарное происхождение. Легенда о плите святой Агнии передавалась из уст в уста, из поколения в поколение и неустанно жила незабвенным сказанием в стенах института.

Это было, как уверяли воспитанницы, очень давно, когда не было еще и самого института, а на занимаемом им месте стоял девичий монастырь. Среди монахинь жила красавица Агния. Она была так хороша собой, что все на нее глядели, как на что-то особенное, неземное. Душа же Агнии была тиха и смиренна, и общий восторг и удивление перед ее красотой смущали ее, доставляли ей невыразимое горе. Ей было неприятно, что все любуются ее прекрасным лицом. Ей захотелось уйти от людей и принять великий подвиг. И вот, красавица-монахиня велела выкопать глубокую темную могилу в огромном монастырском саду, спустилась в нее и приказала накрыть себя каменной плитой. Таким образом стала она жить в своем страшном склепе, в вечной тьме, раза три в неделю получая хлеб и воду, которую спускали к ней на веревке через соседнее отверстие, прорытое в земле... Прошли века, монастырь разрушился, кости монахини-подвижницы истлели в земле, но ее плита, плита святой Агнии, оставалась по-прежнему лежать тяжелой каменной глыбой в дальнем углу последней аллеи институтского сада...

На самом деле ни девичьего монастыря, ни монахини Агнии, ни могилы-склепа здесь никогда и не существовало, но обожавшим все необычайное, таинственное и легендарное, восторженным девочкам предание о плите святой Агнии приходилось весьма по вкусу, и они всячески поддерживали его.

Эта плита, собственно говоря, самый обыкновенный кусок плоского камня, имела для институток огромное значение. Во все трудные минуты жизни – обижал ли кто девочку, случилось ли с нею какое-нибудь горе или просто хотелось ей просить чего-либо у судьбы – воспитанница считала своим долгом идти помолиться Богу у плиты святой Агнии, причем это паломничество совершалось или рано утром, или поздно вечером и непременно весной, летом или осенью (зимой и сама плита, и последняя аллея засыпались снегом, и туда никто, кроме кошек, не проникал). Готовясь к экзамену математики, единственному «чертежному» экзамену, то есть к такому, на котором работали на досках, девочки позволяли себе некоторую вольность по отношению к таинственной плите. Они приносили кусочки мела из класса и писали на плите задачи и теоремы. Считалось особенно счастливым знаком заполучить к экзамену математики какой-нибудь группе таинственную плиту, так как готовившиеся на ней девочки были уверены в поддержке и покровительстве таинственной монахини. Вот почему, лишь только окончился экзамен «Закона», Вера Дебицкая – «учительница» своей группы – торжественно объявила классу:

– Медамочки, я занимаю «плиту»...

Пояснять, какую плиту, не было надобности, все уже знали, в чем дело, и со следующего же утра девочки отправились готовиться в сад.

Солнце начало клониться к закату. Жара спала. Легкой

истоймой повеяло в воздухе.

– Линия АВ равняется линии CD... Додошка, не смотри по сторонам... Найди мне гипотенузу в этой фигуре... – звонко говорит Дебицкая и колотит мелком о плиту.

Додошка с грехом пополам отыскивает гипотенузу.

– Покажи катет... – нимало не умиловившись, приказывает Вера.

Но Додошка ищет катет на небе. Ее голова закинута кверху, а глаза блаженно сияют.

– Mesdames, правда, сегодняшние облака похожи на взбитые сливки? – сладко причмокивая, спрашивает она.

– Даурская, ты глупая обжора и невежда. Ты осрамишь меня, твою учительницу, перед заграничным ассистентом! – выкрикивает Вера и хватается за голову.

– Гм... Гм... Новый ассистент!.. Воображаю, что он подумает о нас, услыша наши ответы!.. – искренне смеется Воронская.

– Плакать надо, а не смеяться. Ведь вы все так плохи, что из рук вон, – негодует Вера.

Елецкая почти ложится на траву у края плиты и, приложив ухо к углу могилы святой Агнии, замирает.

– Ольга, что ты? – спрашивает ее Креолка.

– Тс... Тс... – отвечает Лотос, – я слышу, mesdames, я слышу... Святая Агния предсказывает мне билет...

– Ах, не дури, Елка... Среди белого дня начинаешь галлюцинировать!.. – сказала Сима.

Но Елецкая не обратила внимания на ее слова. Глаза девочки блуждали, а лицо стало неподвижно.

Она лежала в прежней позе, почти касаясь ухом плиты. И вдруг поднялась порывисто и сказала:

– Одиннадцатый билет!.. Святая Агния предсказала мне одиннадцатый!..

– Одержимая! Ну не одержимая ли это, спрашиваю я вас? – расхохоталась Сима. – В какую чепуху верит!

Но девочки, казалось, не разделяли мнение Эльской. Предсказание номеров билетов пришлось им по вкусу.

Теперь место Лотоса заняла Черкешенка и приложила ухо к плите.

Остальные замерли в ожидании.

Но Черкешенке не посчастливилось, как Ольге. Святая Агния никоим образом не пожелала удовлетворить ее желание.

– Додошка, ложись ты, – посоветовала Лида Воронская.

– Ясно, как шоколад, лягу... – Додошка растянулась на траве.

Сначала ее лицо выражало одно только нетерпеливое ожидание. Но прошла минута, другая, третья, и лицо Даурской приняло обычное апатичное выражение.

– Слушай, Вороненок, схвати ее за ногу, – шепнула Эльская на ухо Воронской, – а то она так до ночи проваляется, и мы не успеем выучить ни одного билета.

Лида осторожно придвинулась к лежащей у плиты Додо-

шке и схватила ее за ступню.

– А-а-а-а!!! – неистово взвизгнула Даурская и мгновенно очутилась на ногах.

– Святая Агния меня хватает!.. Помогите!.. Караул!.. – И она опрометью кинулась по аллее. За ней, не говоря ни слова, взбудораженной, испуганной стаей бросились бежать остальные.

– Ой!.. Ой!.. Ой!.. Монахиня бежит за нами!.. За ногу хватает!.. Помогите!.. Помогите! – неслись отчаянные крики.

Лида и Эльская остались вдвоем у роковой плиты. Девочки долго смотрели вслед подругам, потом взглянули друг на друга и весело рассмеялись.

На следующее утро был назначен экзамен математики.

Ровно в 10 часов раскрылись настежь коридорные двери. Одетые в чистые передники, пелеринки и «манжи», выпускные чинно, по парам, вошли в актовую залу.

Тот же зеленый стол, те же расставленные полукругом стулья, те же кресла, предназначенные для экзаменаторов, как и на Законе Божием. Ничего нового, если не считать с полдюжины черных аспидных досок, размещенных по обе стороны экзаменаторского стола.

При взгляде на черные доски сжалось не одно юное сердечко. Через полчаса они покроются цифрами, задачами, линиями, теоремами, и девочки, нервно постукивая мелкими, будут выкладывать о равенстве линий и углов.

– Интересно знать, молод или стар этот заграничный ученый, ассистент Аполлона Бельведерского, – послышался голос Креолки, и она «на всякий случай» поправила кудельки на лбу.

– Пожалуйста, не старайся, – поймав ее движение, сказала Сима, – он, этот неизвестный, стар, как вечность, и безобразен, как Квазимодо, а зол он, должно быть, медапочки, как сорок тысяч братьев злы быть не могут.

– Silence, Elsky!..<sup>23</sup>

И m-lle Эллис, толстенькая, кругленькая, запыхавшаяся, с малиновыми от волнения щеками, метнулась к Симе.

В отдаленном углу залы Лотос вдохновенно поверяла собравшимся вокруг нее девочкам:

– Я слышала одиннадцать подземных ударов... Одиннадцать, один за другим. Это значит, что святая Агния предсказала мне одиннадцатый билет... И его я знаю отлично...

– Смотри не ошибись, Елочка, как бы не случилось иначе! – заметила Воронская. – Может быть, это означало...

– Экзаменаторы идут. И «маманя» на горизонте! – крикнула Малявка, дежурившая у входной двери в зал.

Шумным роем вспорхнули девочки и, толкая друг друга, устремились к своим местам, спешно поправляя на ходу завернувшиеся передники и сползшие набок пелеринки.

– Экзаменаторы идут!

Крылатая фраза облетела зал в одну секунду. В следую-

---

<sup>23</sup> Молчать, Эльская!

щую же – экзаменующиеся уже чинно стояли у своих мест.

У крайнего стула стояла Воронская. Обычно веселая, не унывающая в самые трудные минуты жизни, девочка теперь была серьезна. Дело в том, что Лида, способная, восприимчивая к ученью, одаренная богатой памятью, была окончательно бездарна в отношении одной науки. Эта наука была математика. С математикой у Воронской с самого начала учения была непримиримая вражда. Математика невзлюбила Лиду, Лида ненавидела математику. Девочка путалась и терялась в решении задач, при доказательстве теорем и алгебраических уравнений. И одна из лучших учениц по классу, Лида по математике считалась едва ли не последней. Вера Дебицкая, зная это, великодушно приняла Лиду в число своих учениц, занимаясь с нею особо от «группы». Но, несмотря на эти занятия, несмотря на все старание Веры, злополучная математика все-таки не давалась Лиде. Цифры, буквы, линии, окружности, все это мешалось в голове Воронской, получалась каша. С трудом выучив десять первых билетов, Лида успокоилась немного в последний день подготовки.

«Куда ни шло... вывезет кривая...»

И до самого утра экзамена она чувствовала себя сносно.

«Бог не выдаст – свинья не съест. Вытащу из первых билетов, и дело в шляпе», – бесшабашно думала до решительного дня Лида, но теперь смутный страх заползал в душу.

«А что если вытащу билет после десятого? – сомневалась Лида. – Ведь всех билетов сорок, и весьма может статься, что



мне достанется один из последующих...»

«Знать только десять билетов, когда всех сорок! Только четвертую часть! Разве это не риск? – терзалась девочка, – и еще этот незнакомый экзаменатор, ассистент из-за границы, как назло, явится сюда... Будь он „душка“ или „чучело“ – результат один: провал на выпускном экзамене... И к чему только Аполлон тащит его сюда?.. Еще ученый, говорит! Заграничный ученый! Воображаю этого душку... Нос до завтрашнего утра, тройные очки и голый, как тыква, череп...» – и, окончательно рассердившись и на математику, и на Аполлона-Зинзерина, в качестве ее представителя, и на незнакомо-го ученого, Лида с силой ударила по учебнику первоначальной алгебры.

– Воронская, чего ты бесишься?!.. Маман на пороге... – И Рант изо всей силы дернула Лиду за передник.

Действительно, в зал вошла начальница. За ней инспектриса, инспектор, Зинзерин, какой-то седой маленький старичок и...

– Большой Джон! – громко крикнула Лида.

– Большой Джон! – эхом откликнулись остальные девочки, и на их лицах отразилось самое красноречивое изумление.

Да, это был он, Большой Джон, широкоплечий, с коротко остриженной белокурой щетинкой, с ястребиными глазами и большим добродушным ртом. Но его глаза глядели сегодня строго.

В первую минуту его появления, столь неожиданного, девочки опешили до того, что позабыли даже поклониться вошедшим экзаменаторам и начальству.

– Рант, Рант, голубушка, ущипни меня покрепче, а то мне кажется, что я сплю и вижу Большого Джона во сне, – прошептала чуть слышно Лида.

Рант так добросовестно исполнила эту просьбу, что Воронская чуть не вскрикнула от боли на весь зал.

M-lle Эллис заметалась, как курица перед грозой, среди вверенных ее попечению девочек.

– Mais etes-nous folles, mesdames! Mais saluez done maman!<sup>24</sup>

Оказалось, что Большой Джон был вместе с Зинзериным на математическом факультете Оксфордского университета и приглашен в качестве ассистента на экзамен своего коллеги. «Ясно, как шоколад», – сказала бы Додошка, но, пока каждая из девочек успела сообразить это, прошло немало времени.

– Mais saluez done maman! – выходила из себя m-lle Эллис, продолжая метаться между остолбеневшими рядами воспитанниц.

Тут только девочки пришли в себя, очнулись и, глубоко «окунаясь» перед начальницей, произнесли довольно нестройным на этот раз хором:

---

<sup>24</sup> Что это вы ошалели, mesdames! Приветствуйте maman!

– Nous avons l'honneur de vous saluer!<sup>25</sup>

И как бы по вдохновению, не сговариваясь, не условливаясь друг с другом, тем же хором, но уже более стройным и дружным, прибавили тут же к полному удивлению начальства:

– Здравствуйте, monsieur Большой Джон!..

Начальство заняло за зеленым столом приготовленные места. Большой Джон опустился на стул, стоявший подле Зинзерина. Он казался странно суровым и недоступным в своем, наглухо застегнутом черном сюртуке, с плотно сомкнутыми губами и строгим взглядом. Как мало походил он сегодня на того милого, веселого насмешника, Большого Джона, который проповедовал смирение и кротость сорока большим девочкам в этой самой зале в один из «приемных» четвергов!

«Большой Джон играет роль строгого экзаменатора, и это очень забавно», – мысленно говорила себе Лида, хотя ничего забавного не ощущала в эти минуты взволнованная девочка.

«Если вытащу какой-нибудь билет после десятого, осрамлюсь на веки веков».

Как сквозь сон слышала она вызовы инспектора, вопросы экзаменаторов, знакомый и в то же время странно чужой, официальный голос молодого экзаменатора, Большого Джона, а мысли с поразительною быстротою перескакивали с предмета на предмет.

---

<sup>25</sup> Имеем честь вас приветствовать!

Смутно припомнились девочке рассказы Большого Джона о его пребывании в Англии, рассказы, слышанные еще в детстве, о его особенной склонности к математическим наукам и о том, как писал он диссертацию на первую степень ученого математика, чуть ли не в 22 года.

– Счастливец! Счастливец! – шептала сероглазая девочка. – Счастливец Большой Джон! Он математик... А я... я... Что я буду делать, если вытаску незнакомый билет?.. Что он подумает о своей сестренке, о своей маленькой русалочке?

Как бы в ответ на мучительный вопрос, Лида услышала голос инспектора, произнесший два слова, погребальным звоном отозвавшиеся в ее душе:

– Госпожа Воронская...

Госпожа Воронская! Одно только маленькое коротенькое обращение, а между тем какая драма скрывается в нем!

Девочка вышла на середину залы и, забыв «окунуться» по традиционному институтскому этикету, беспомощно обратила на лицо Джона свой испуганный взор.

«Вы видите, – казалось, говорил этот взор, – вы видите, я в отчаянии... Ободрите же меня, Большой Джон... Ободрите»...

«Какое мне дело до вашего отчаяния! Надо было хорошо готовиться, хорошо учиться», – отвечал «ястребиный» взор, исполненный холода и бесстрастия, и обычно добродушное, снисходительное лицо Большого Джона стало деревянным и чужим, каким еще никогда не видела его Лида.

«Господи, рублевую свечу Владычице и по сорока поклонов каждый вечер!», – мысленно произнесла девочка и порывисто взяла верхний билетик.

Голова закружилась, красные круги заходили перед глазами. Ничего не видя, она перевернула лицевой стороной роковую бумажку и едва удержалась от торжествующего крика, готового вырваться из груди.

«Десятый билет! Десятый!»

– Пожалуйста к доске, – как сквозь сон услышала она голос Зинзерина, и этот голос показался ей теперь таким милым, чудным, значительным.

«Десятый билет!.. Спасена!.. Спасена!.. Десятый!» – пело на тысячу голосов в душе Лиды, и уверенными взмахами мелка она быстро набросала значащуюся на билете задачу-теорему. Она стояла теперь торжествующая, радостно взволнованная.

Рядом Додошка врала что-то на своей доске, стирала и опять врала, готовая разреветься от досады.

Недолго думая, Лида пришла ей на помощь. Билет Додошки был легкий, из первого десятка, и Воронская знала его.

– У тебя ошибка, – шепнула она, не разжимая рта, в сторону подруги, – линия DC не может быть делима на EG... Понимаешь?.. Вот что надо делать... – и мелкими, чуть заметными цифрами Лида показала Додошке на своей доске, что надо было делать. Та исправила ошибку.

– Госпожа Воронская, – почти тотчас же вслед за этим

сказал ничего не заметивший Зинзерин, – извольте отвечать.

Лида толково объяснила решенную ею на доске геометрическую задачу. С тем же ликующим видом и с пылающими щеками она блестяще отвечала на все, относившиеся к задаче, вопросы Зинзерина.

– Прекрасно! Прекрасно, госпожа Воронская! – одобрительно закивал, смущенно улыбаясь, Аполлон Бельведерский. – Такая, можно сказать, была слабая ученица в году по математике и такой блестящий ответ на экзамене! Очень хорошо-с!

– Прекрасный ответ! – согласились с ним все присутствующие и ласково глядели на сияющую девочку.

Один только молодой ассистент сидел по-прежнему, с застывшим, точно окаменелым, лицом и холодно, сурово глядел на Воронскую своими ястребиными глазами, ставшими теперь такими же холодными, чужими и суровыми, как и при его входе в зал.

«Что с ним?... На что он сердится? Как он строго и сердито глядит на меня! Что случилось? Или это шутка со стороны Большого Джона?»

Полная неясного, гнетущего волнения, Лида вернулась на место.

– Душка Вороненок, тебе двенадцать поставили, сама видела! – зашептала ей Рант и незаметно пожала руку своей соседке.

– Поздравляю, Лидуша! Прекрасно ответила! Здорово

отрапортовала. Небось, Большой Джон не нарадуется на свою любимицу... И какой сюрприз всем нам, а?! Большой Джон в качестве экзаменатора! – шептала другая соседка, Сима.

Но Лида не слышала поздравлений. Она точно упала с неба на землю.

Суровый, почти враждебный взгляд Джона преследовал ее и здесь.

«Что с ним? Что случилось? Он должен был бы радоваться, хвалить, одобрить, а он... ни одного вопроса не задал, как другим. И этот взгляд!.. Да что же наконец все это значит?..»

Экзамен математики, продлившийся часа три, показался вечностью для Лиды.

Но вот, наконец, последняя из выпускных спрошена, девочки выводят из залы минут на двадцать, пока идет совещание между экзаменаторами и ассистентами, и снова приводят для оглашения полученных отметок.

– Воронской двенадцать, – слышит Лида, но она почти не рада высшему баллу.

Большой Джон, недовольный ею друг, вот кто занял теперь мысли девочки.

А Большой Джон, сделав общий полупоклон, спешно направился между рядами институток к выходу из зала.

«Большой Джон уходит! Уходит такой чужой, строгий и далекий!.. Нет!.. Нет!.. Нельзя его отпустить так! Надо выяснить все, во что бы то ни стало...» – Лида, нарушая все пра-

вила институтских традиций, выскакивает из залы и несется вслед за Большим Джоном.

Широко шагая своими длинными ногами, он идет далеко впереди. Вот он завернул за угол и должно быть уже спускается с лестницы.

Так и есть... Сейчас он спустится, и ей уже не догнать его...

– Большой Джон, остановитесь!..

Этот крик – крик боли, страха и мольбы вырывается из самых недр маленького сердца. Он достигает ушей большого, крупно шагающего человека. Большой Джон останавливается в самом низу лестницы, на последних ступеньках.

– Большой Джон, что случилось?.. Да говорите же, говорите!

– Маленькая русалочка, – говорит Большой Джон все тем же чужим, незнакомым голосом, – я узнал сейчас от моего товарища, что ваша классная дама, госпожа Фюрст, вышла в отставку по вине своих бывших воспитанниц. Вы не послушали меня, несмотря на то, что я советовал и просил во что бы то ни стало помешать этому. Она была сильно больна вследствие нервного потрясения... и теперь... теперь...

– Теперь ей лучше, Большой Джон? Я видела еще недавно Карлушу, ее маленького племянника, и он сказал, что теперь...

– Теперь она умирает.



## ГЛАВА 7

# В грозовую ночь на последней аллее. – У «шпионки». – Больной Фриц. – Последний экзамен. – Два сюрприза

Весь день было душно. Зной опутал, как огромный паук, город, деревья, скверы. К вечеру разыгралась гроза, оглушительная, несущая, казалось, гибель...

Огнедышащие молнии разрезали небо. Громовые раскаты сотрясали здание.

Заперли окна, двери, трубы. Девочек раньше времени отвели в дортуары и велели ложиться спать. Дежурная Медникова, уложив выпускных, скрылась, торопливо крестясь тайком. Она боялась грозы. Боялись и девять десятых всего института. Все легли, но никто не мог уснуть.

Из дортуаров младших неслись истерические крики и всхлипывания. В «выпускном» дортуаре, на крайнем окне, держась за оконную раму, стояла Сима Эльская. Она звучно декламировала:

Люблю грозу в начале мая,  
Когда весенний первый гром,

Как бы резвяся и играя,  
Грохочет в небе голубом...

Оглушительный раскат грома прервал ее. Молния золотисто-огненной змеею проскользнула где-то близко-близко.

– Отойди от окна, Волька, тебя убьет! – взвизгнула Малавка и полезла головой под подушку.

Перед киотом стояла Карская и один за другим отбивала земные поклоны.

– Свят, свят, свят, Господь Саваоф!

В другом углу Пантарова-первая кричала:

– Если нас убьет грозою, как вы думаете, mesdam'очки, будет плакать Чудицкий?

Рант носилась подобно мотыльку по дортуару.

– Не бойтесь, не бойтесь, душки! – говорила она. – Если умрем, то все умрем сразу, молодые, цветущие... Хорошо!.. Невесты Христовы! Все до одной! И экзаменов держать не надо. И протоплазма не срежет никого... Умрем до физики, душки!.. Хорошо!..

– Рант, противная, не смей предсказывать! Тьфу... тьфу... тьфу!.. – рыдала и отплевывалась в одно и то же время Додошка. – Умирай одна, если тебе так нравится. Ты и так «обреченная», а я не хочу, не хочу, не хочу!

– Додошка, на том свете пирожных-то не дадут, а?.. Ясно, как шоколад! – повернулась к ней Сима.

– Отстань! Все отстаньте! Ай! Ай! Ай!.. – взвизгнула Да-

урская, потому что в этот миг золотая игла молнии снова осветила спальню. Зажав уши и плотно сомкнув глаза, До-дошка бросилась ничком на кровать.

– Свят! свят! свят! – снова залепетала в своем углу Карская.

– Боже! глупые какие! Грозы боятся. Посмотрели бы, какие грозы на Кавказе бывают, – говорила Черкешенка.

Она сидела на кровати Лиды.

Воронская, притихшая, лежала на своей постели, прикрытая теплым байковым платком. На все вопросы Черкешенки Лида отвечала молчанием.

Елена терялась в догадках. О том, что Воронская боится грозы, Черкешенка не могла и подумать. Бесстрашие и мальчишеская удаль Лиды были хорошо известны всему институту.

«Да что же, наконец, случилось с нею?» – задавала себе вопрос Елена и не могла найти ответа.

Веселая, смелая, немного дерзкая, Лида всегда была особенно мила и дорога ей, Гордской. Нравилась в ней ее бесшабашная удаль, ее шалости, ее прямота и те особенные взгляды на вопросы чести, каким следовала Воронская. И каждый раз, когда серые глаза Лиды туманились, а стриженная головка клонилась долу под бременем отягощавшей ее невзгоды, Черкешенка пытливо заглядывала ей в лицо, а сердце южаночки сжималось от боли за ее любимого «Вороненка».

Но никогда Лида Воронская не казалась Елене такой

несчастной, почти жалкой.

– Лидок, Вороненочек, мальчишечка ты мой милый, что с тобой?.. Скажи, поделись своим горем, легче тебе будет...

Лида молча вскинула на нее глаза. И в этом взгляде Черкешенка прочла столько невыразимого горя, что невольно отшатнулась.

– Уйди!.. Оставь!.. Не надо тебя!.. Никого не надо...

Лицо Черкешенки исказилось ужасом.

– Что с тобой, Лида? Что ты?

– Фюрст умирает!.. Умирает из-за нас, из-за меня!.. Я убила ее своим поступком!.. Убила ее!.. – крикнула Лида и, растолкав подруг, выбежала из спальни.

Темнота окутала длинные коридоры, огромную залу, просторную библиотеку, классы и столовую, словом – все здание. Подсвечники звенели в запертой церкви при каждом громовом ударе, и этот звук казался сверхъестественным и страшным в ночной час. Темнота прорезывалась яркими вспышками молний, и громовые удары потрясали здание.

Лида мчалась по коридорам и лестнице, по нижней площадке, мимо швейцарской и «мертвецкой» – небольшой террасы-комнатки, похожей на часовню, где ставили гробы редко умиравших в институте воспитанниц.

Вот и стеклянная дверь. За нею крыльцо, лестница, спускающаяся в сад.

Что, если она окажется запертой?

Но нет, слава Богу, вход в сад закрыт только на задвижку. Очевидно, никому и в голову не пришло запереть дверь на ключ. Кто захочет выйти в сад в такую ужасную погоду?

Мысли Лиды несутся с поразительной быстротой... Что ей надо здесь? Зачем она сюда прибежала? Но этот вопрос она задает себе лишь на секунду. В следующую же секунду он уже решен.

Фюрст умирает из-за нее. Она, Лидия Воронская, виновница ее смерти. Она убийца. Нужно искупление, надо во что бы то ни стало пожертвовать собою. Надо предложить себя, свою жизнь взамен жизни фрейлейн, столь необходимой ее бедным маленьким племянникам и ее несчастной сестре. И Верховное Существо рассудит, решит. Господь всемогущ и справедлив, и она, Лида, знает это. Если она заслужила, пусть молния убьет ее, Лиду, но только пусть не умирает Мина Карловна.

Рванув что было силы стеклянную дверь, Воронская стремглав сбегает с лестницы и несется через садовую «крюкетную» площадку туда, в дальнюю аллею, где темно и жутко, где глухо шумят деревья и где белеет чуть заметная каменная плита.

«Протоплазма говорил на физическом уроке, что дерево хорошо притягивает молнию, – думает Лида, – и если я встану под деревом, молния ударит в него, и я умру... И я готова умереть, только, только, Господи, спаси фрейлейн от смерти... Сохрани ее жизнь, дорогой Господи, прекрасный, ми-

лостивый, добрый... Ах!»

Удар грома ухнул со всею силой. Он раскатился по всему саду, сотрясая, казалось, весь огромный мир.

Одновременно блеснула молния, стало светло на миг, как днем, в огромном старом саду. Лида осенила себя торопливо крестным знамением. И снова потемнело, словно осенней ночью.

Тем же быстрым бегом Воронская достигла последней аллеи. Здесь стояла высокая старая липа, уже расщепленная когда-то грозью. В трех шагах от нее находилась плита святой Агнии.

Ветви липы раскинулись шатром над воображаемой могилой легендарной монахини. В эту легенду о святой Агнии Лида не верила и смеялась, когда подруги рассказывали о ней. И не для святой Агнии, но ради того, чтобы получить душевный покой, прибежала сюда девочка. Она считала себя преступницей с той минуты, когда Большой Джон открыл ей печальную новость. А всякое преступление, по мнению Лиды, должно быть искуплено. И со свойственной ей горячностью, пылкая во всем, необузданная девочка в страстном порыве охватившего ее отчаяния взамен умирающей Фюрст предлагала взять ее собственную юную жизнь. В ту самую минуту, когда Черкешенка допытывалась там, в дортуаре, о причине мрачного отчаяния, охватившего ее подругу, эта мысль явилась в душе Лиды и ярким светом озарила ее.

Не теряя ни минуты, она опускается на колени, на горя-

чую, всю словно насыщенную электричеством землю.

– Господи!.. Возьми мою жизнь! Убей меня молнией!.. И спаси ее... спаси ее... если можно!..

Новый удар грома заставил ее поднять голову. Жуткий ослепительный свет озарил сад. Лида взглянула в конец далекой, змейкой вьющейся аллеи и вскрикнула от неожиданности.

Высокая, во все черное одетая, фигура, казавшаяся огромной при ослепительной вспышке молнии, медленно подвигалась по направлению к ней.

– Кто это?.. Агния?.. Призрак?.. Но ведь Агния легенда, предание, и призраки не приходят к нам!.. – терялась она в догадках.

Вот фигура почти поравнялась с плитой. Послышалось ее свистящее дыхание.

Молния вспыхнула снова и озарила ее с головы до ног.

– Маман!

– Воронская!

Эти два крика слились в один.

Одновременно баронесса-начальница (черная высокая фигура оказалась ею, одетой в просторный темный капот, с обмотанной черным шарфом головой) и выпускная «первая» узнали друг друга.

Лида поняла сразу, что значила эта ужасная одышка. Маман страдала астмой и в минуты припадка астматического удушья находила единственное от нее спасение, выходя на

воздух в сад. Присутствие ее ночью в последней аллее объяснялось, таким образом, очень просто, но присутствие здесь Воронской для начальницы казалось совсем необъяснимым.

– Каким образом ты... – начала было она, с трудом переводя дыхание.

Но Лида, не дав баронессе окончить, быстро схватила руки начальницы, спрятала в них свое пылающее лицо и глухо произнесла:

– О, я хотела умереть!.. Я не могу... я не стою жизни, когда она, она умирает из-за меня... из-за нас!.. Господи, если бы молния убила меня, я бы была теперь такой счастливой, не мучилась, не страдала... О, тамап, если бы вы знали только!.. Голубушка, тамап, какая это тоска, какая мука!.. – заключила свою речь с страстным отчаянием бедная девочка.

Должно быть, много затаенного горя уловило в этом взгляде чуткое сердце начальницы.

– Что с тобой, девочка?.. Что с тобой?.. – произнесла баронесса, обвила плечи девочки и усадила ее на садовую скамью. – Расскажи все, все, что случилось... Или нет – плачь, плачь, лучше выплаться прежде всего, бедняжка. Тебе будет легче. Такое состояние должно разрешиться слезами.

Все было поведено: и история с Фюрст, и нарушение совета Большого Джона, по вине ее, Лиды, ее – преступницы, одной виновницы всего, всего.

– И вот, когда я узнала о том, что смерть грозит фрейлейн,



я прибежала сюда... я сама захотела умереть, – заключила она свою исповедь.

Рука баронессы легла ей на плечо.

– Бедное дитя, я не хочу говорить о великом грехе желания себе смерти и гибели. Не буду говорить и о горе твоих родителей, если бы они потеряли тебя. Господь бы не попустил совершиться твоему неразумному желанию. И твоя смерть не могла бы принести искупления ни в каком случае. Но дело не в этом. Твой поступок – детский порыв и безумие. Твоя совесть может найти себе покой иным путем... Я была у фрейлейн Фюрст сегодня. Ей, правда, очень худо, она при смерти. Твой друг, monsieur Вилькинг, не обманул тебя. Но все в руках Божиих, и бывает так, что серьезно больные и умирающие поднимаются на ноги, выздоравливают – по Его святой воле. Завтра я еду снова к Мине Карловне и возьму тебя с собой. Ты будешь помогать ухаживать за ней ее сестре, и, кто знает, может быть, успокоится немного твоя измученная совесть, когда ты, если не словом, то действием испросишь прощение у той, которую ты так жестоко обидела... Неправда ли, ты поедешь к ней?..

\* \* \*

– Остановись, Иван, у серого дома.

Баронесса захлопнула крошечную форточку, проделанную в передней части кареты и снова откинулась на сиденье,

мельком взглянув на свою спутницу.

Лида в своей скромной форменной фетровой шляпе и в темном драповом зеленом пальто казалась очень встревоженной.

Всю ночь напролет девочка не смыкала глаз, и с самого утра она дежурила у дверей начальницы.

Кучер распахнул дверцу кареты и осторожно высадил начальницу и ее юную спутницу.

Сиявшее так весело с утра солнце теперь скрылось. Тучи снова собрались на потемневшем небе, и крупные редкие капли дождя зашлепали на мостовую.

Вслед за маман Лида прошла в какие-то ворота, миновала узкий двор, заваленный наполовину дровами и всяким хламом, и стала подниматься по грязной лестнице с кривыми ступенями.

Добравшись до пятого этажа, они повернули на маленькую площадку, добрую треть которой занимала полуразвалившаяся корзина, доверху наполненная глыбами льда. Одна глыба лежала на каменном полу площадки. Сидевшая перед ней на корточках белокурая девушка отбивала куски льда большим кухонным ножом. При виде прибывших девушка быстро вскочила на ноги и начала спешно вытирать багровые от холодного льда руки о синий клетчатый передник.

– Здравствуйте, Лина, милая моя, – ласково произнесла баронесса и, наклонившись к девушке, поцеловала ее в лоб. – Как здоровье тети? Лучше ли ей?

Та всплеснула руками, быстрым движением поднесла их к лицу и тихо, жалобно заплакала.

Этот тихий, жалобный, словно детский плач отозвался мучительным отзвуком в сердце Лиды.

«Ей худо... Она умирает... О, Господи, помоги ей!»

Словно чувствуя, что происходит с ней, баронесса положила руку на плечо девочки.

Они очутились, в маленькой, удивительно чистенькой комнате.

У окна стояло старое потертое кожаное кресло, и в нем сидел, согнувшись в три погибели, уродец со старческим лицом, с темными, злыми глазами, с изогнутой колесом спиной, с синими губами и безжизненно повисшими ногами.

– Не бойтесь! Это братец Фриц. Он неизлечимо болен, – услышала Лида и тут только увидела маленькую, лет одиннадцати, девочку, свернувшуюся у ног больного и искавшую что-то в целом ворохе гаруса и разноцветных лоскутков.

– Здравствуй, Мария, – кивнула баронесса девочке, – вот я привезла мою воспитанницу, Лиду. Она хочет помогать ухаживать за вашей тетей.

Маленький уродец, спокойно сидевший до сих пор в кресле, вдруг неожиданно заволновался, захрипел и замахал руками. Из рта его рвались звуки, неумело слагавшиеся в слова. Угрюмые, дико вытаращенные глаза уставились прямо в лицо Лиды.

– Уйди!.. Убирайся!.. Чужая!.. Злая!.. Не хочу!.. Тетю они

убили!., мою тетю!.. Убирайся отсюда вон!.. Буду кусаться, буду, буду!..

Воронская в ужасе закрыла лицо руками и прижалась к начальнице.

Когда она снова взглянула, между ней и уродцем стоял знакомый мальчик с белокурыми локонами.

– Здравствуй! – протягивая руку, произнес Карлуша, тот самый, с которым так неожиданно встретилась перед исповедью Лида в комнате Фюрст. – Здравствуй и ты, – обратился он к начальнице института, и, нимало не смущаясь, протянул руку ей. – Это хорошо, что вы приехали, вы поможете маме. Она устала, не спала столько ночей... И Лина устала, ведь ей надо постоянно колоть лед для пузыря и бегать за лекарством... А ты зачем напугал тетю?.. – сказал он уродцу и пристально, не по детски серьезно заглянул ему в глаза. – Не смей капризничать, Фриц!.. Не смей беспокоить больную тетю, а то я, твой братишка Карлуша, перестану любить тебя.

Что-то осмысленное зажглось в озлобленных, мрачно горящих глазах уродца.

– Не буду... не буду... – срывалось несвязными звуками с его губ, – не сердись только... не разлюби Фрица... пожалуйста, не разлюби... Фриц калека... Фриц несчастный навсегда... – прибавил он, неожиданно раздражаясь жалобным плачем.

– Не разлюблю... – произнес Карлуша и, поднявшись на цыпочки, коснулся губами несоразмерно большой головы

уродца.

По лицу несчастного Фрица проползла блаженная улыбка. Очевидно, этот маленький светлокудрый Карлуша являлся ангелом-утешителем, светлым лучом солнца среди жалкого прозябания несчастного калеки-брата...

На пороге кухни показалась худая, высокая женщина с заплаканными глазами, очень бедно одетая и отдаленно напоминавшая кого-то Лиде. Она бросилась к начальнице, от нее к Воронской и заговорила:

– Благодарю... о, благодарю... что приехали к нам!.. Моя бедная Мина!.. О... она так плоха, бедняжка!.. Сегодня был господин пастор и не мог ее напутствовать даже... Очень, очень плоха... Благодарю, благодарю вас, что навестили, баронесса, благодетельница наша, и вы, ангелочек барышня...

И прежде нежели Лида успела отдернуть руку, заплаканная женщина поднесла ее к своим губам.

Горячий поцелуй и упавшая чужая слеза словно обожгли Лиду. Она удержалась с трудом, чтобы не крикнуть:

«О, не делайте этого!.. Если бы вы знали, кто перед вами!.. Я погубила вашу сестру, я ее убийца...»

Но словно невидимые путы легли на губы девочки, не давая ей говорить.

– Был доктор сегодня? – тихо осведомилась баронесса у хозяйки этого убогого жилья.

– Доктор был рано утром и еще приедет вечером... Сегодня роковая ночь, сегодня перелом болезни, и наша Мина

или выздоровеет, или...

Несчастливая женщина не договорила, закрыла лицо руками и зарыдала. За нею заплакала Мария, зарыв лицо в лежащую перед нею грудь лоскутков.

Калека Фриц, видя слезы матери и сестры, занял громко.

– Га-га-га... Тетя Мина...

– Молчи, а то я уйду сейчас, и ты меня никогда не увидишь, – прикрикнул на него Карлуша, потом подошел к матери, встал на цыпочки, дотянулся до ее лица и с трудом оторвал от него залитые слезами руки.

– Не надо плакать, мама... Господин пастор сказал: «На все воля Божия»... Или ты не слышала этого?.. А теперь ложись спать, мама, а я и Марихен займем Фрица, чтобы он не кричал. Каролина пойдет в аптеку. А ты, – неожиданно сказал он Лиде, – ты пойдешь посидеть с тетей Минхен... И ты тоже... – тоном, не допускающим возражений, обратился он к баронессе. Сделав им знак следовать за собою, он вышел из кухни, служившей, впрочем, столовой и гостиной.

Они миновали крошечный коридорчик, за ним темную комнату, где стояли кровати обоих мальчиков, и очутились в небольшом помещении, с завешанным темным платком окошком. Тяжелый запах камфоры, мускуса и еще чего-то заставил Лиду остановиться на пороге.

– Вам дурно?.. Хотите воды?.. Это у вас с непривычки... – услышала она нежный голос и, открыв глаза, увидела белокурую Каролину.

Девочка стояла у постели больной.

В этой изможденной, сильно постаревшей женщине трудно было узнать фрейлейн Фюрст.

И опять сердце Лиды сжалось мучительной болью.

«Вот что ты сделала, полюбуйся на дело рук твоих».

Она вынуждена была сесть в подставленное ей Каролиной кресло, стоявшее около постели. В другое кресло, у изголовья больной, опустилась баронесса.

Начальница подозвала Каролину и долго беседовала с нею. Потом вынула портмоне из кармана и отдала его девушке.

– Купите все необходимое... И не экономьте, Бога ради...

Каролина отвечала чуть слышно:

– О, вы так добры!.. Господь благословит вас... Но деньги у меня еще есть... ваши деньги... от вчерашнего остались... и прежние еще...

А Лида не отводила взора от больной. Невыносимые терзания наполняли ее душу. Внутренний голос говорил:

«Любуйся... смотри, что ты наделала. Кормилицу семьи своей выходкой до чего довела ты, гадкая, скверная... Казнись же, казнись теперь, всегда, всю жизнь»...

Временами Лиде кажется, что она спит и видит все это во сне.

Лида видит белокурую Лину, с нежной настойчивостью заставляющую ее выпить чашку бульона, видит незнакомого господина, вполголоса разговаривающего с татан. Она до-

гадывается, что это доктор. Доктор говорит:

– Случай довольно трудный. Восемьдесят процентов за смертельный исход. У больной воспаление мозговых оболочек на почве нервного потрясения. Конечно, бывают и счастливые исходы, но это редкость. И в данном случае выздоровление почти невысказимо – больная слишком обессилена. А впрочем, врач должен до последней минуты оспаривать жертву, намеченную смертью. Если бы больная уснула крепким сном в эту ночь кризиса, спасение, вероятно, могло бы быть.

Доктор замялся немного и потом совсем уже неожиданно заключил:

– А если удастся спасти больную, тогда необходимо отправить ее куда-нибудь на юг до полного исцеления.

– Да, да, надо сделать все возможное, – слышит Лида как сквозь сон голос баронессы.

Снова колючими тисками сжимается сердце, и она молит: «Боже великий и милосердный!.. Спаси ее!.. Спаси!.. И я буду другая!.. Я исправлюсь, Господи, исправлюсь совсем!»

...Когда через некоторое время Лида открыла глаза, татап стояла подле Лиды и ласково, кротко говорила ей:

– Господь услышал наши молитвы. Она будет жить... Она выздоровеет...



Уже экзамен русского языка был в самом разгаре, уже свои и чужие ассистенты успели вызвать добрые два десятка воспитанниц, а занимающая председательское место «Кочерга» успела несколько раз остановить колким замечанием ту или другую девочку, а ни самой татап, ни одной из лучших учениц по русской словесности не было в зале. Выпускные сидели, как на иголках. В замкнутый девичий мирок успела проникнуть новость: «„шпионка“ при смерти, и татап с Воронской целые сутки дежурят у ее постели».

Девочки-подруги волновались. Всем была известна ночная драма, все знали, что татап «накрыла» Лиду у плиты святой Агнии и привела в дортуар, с тем, чтобы на другое утро везти ее к умирающей Фюрст.

Эта Фюрст лежала камнем на совести впечатлительных девочек.

«Если Фюрст умрет – вина наша».

И притихшие выпускные то и дело поглядывали на дверь, в чаянии увидеть Лиду и расспросить поскорее обо всем.

А экзамен шел своим чередом. Черкешенка писала на классной доске заданное ей сочинение: «О романтизме в русской литературе и его последователях».

У зеленого стола стояла Эльская и декламировала отрывок из Шильонского узника.

Идут!.. – вдруг пронесся по зале чуть слышный шепот.

«Кочерга» насторожилась и, подняв палец вверх, зашипела что-то о спокойствии.

– Если она войдет с убитым лицом, значит, все конечно... – прошептала Креолка на ухо Додошке.

Додошка, сосавшая леденец (ей нечего было волноваться за исход экзамена – она уже отвечала и, против обыкновения, довольно сносно), выплюнула его в передник и усиленно закрестилась на образ, тихо шепча:

– Господи, помилуй! Сто поклонов на паперти, если «шпионка» оживет...

– Тссс!.. Они тут...

«Они» действительно уже были здесь: величественная тапан и трепещущая стриженная девочка. В усталое личико этой девочки впилось теперь четыре десятка глаз с немым вопросом:

«Умерла?.. Выжила?»

И ответ последовал мгновенно.

«Жива!.. Жива!.. Жива!» – без слов говорили серые глаза

Лиды.

Сияющая подошла к зеленому столу Лида.

Ряд знакомых и незнакомых лиц, словно в тумане, замелькал перед нею. Она увидела мягко улыбающееся лицо Чудицкого, его умные глаза, услышала его четкий голос:

– Можно ли экзаменовать госпожу Воронскую?.. Или достаточно одного сочинения на доске?..

И ответ тамап:

– Одно сочинение пусть пишет. Ведь она сильна была в году по русскому языку.

Чудицкий покорно склонил голову, встал с экзаменаторского кресла и быстрым шагом направился к доске.

Мелок стучит о черный аспид. На доске остается белый след в виде ровно и четко написанного названия заданной темы.

«Наши воспитатели», – читает Лида.

С минуту Лида стояла неподвижно.

И вдруг зажглось что-то огромное, светлое, праздничное в ее душе.

Лида взяла мелок и уже не выпускала его до тех пор, пока вся черная доска сверху до низу не была исписана крупным, четким, немного детским почерком.

– Готово? – услышала она чей-то знакомый голос.

Она очнулась. Провела рукой по пылающему лицу, по курчавым волосам. И словно кто-то чужой ответил за нее:

– Готово...

Таким странным показался ей самой ее голос.

Чудицкий, тамап, Кочерга, Тимаев, ассистенты окружили ее.

Чудицкий читал и, слушая его ровный звучный голос, девочка была близка к обмороку от охватившего ее волнения.

То, что было написано на доске Лидой, было печально, страшно и красиво.

Это была животрепещущая исповедь, искреннее признание измученной детской души.

В кратких словах, в виде письма к подругам, Лида описывала мучения, причиненные жестокой, легкомысленной молодостью учительнице, принужденной все терпеть, все сносить ради насущного хлеба, ради многочисленной семьи. Ее сочинение заканчивалось фразой:

«Сестры, подруги дорогие! Вернуть прошлого нельзя. Оно непоправимо. Но будущее в наших руках. Мы, я в особенности, принесли горе человеку, пострадавшему из-за нас, нашей воспитательнице, и мы должны, я должна поправить это зло... Сестры, подруги, помогите мне! Я видела горе, нищету и убожество там, у нее в доме, я видела исхудалых от голода детей, видела калеку-ребенка, которого нельзя вылечить из-за нищеты, а мы вместо того, чтобы помочь, мы вырвали кусок хлеба из горла у этих несчастных. Виновна я, одна я больше всех, но помогите – одной мне не справиться, не поправить этой беды, этого горя. А помочь надо, помочь надо сейчас, сейчас, сейчас!..»

Экзамен окончился. Прочли баллы. Матан, особенно снисходительная в это утро, вышла, окруженная учительским персоналом.

Пожелав воспитанницам счастливого и успешного продолжения экзаменационных занятий, Чудицкий ушел, простившись со своими ученицами до выпускного бала. Дверь давно закрылась за начальством, а девочки остались на сво-

их местах. Они чувствовали, что сейчас должен разыгаться последний акт переживаемой всеми трагедии со «шпионкой».

И предчувствие не обмануло их. Лида подняла руку – и все смолкло.

– Я не могу, не смею навязывать мою вину всем вам... – говорила она прерывисто и звонко. – Виновна я одна... и одна должна помочь... Но моей помощи слишком мало... А там нужда, голод. Мину Карловну надо на юг... Фрица в лечебницу... Белокурой Лине тоже нужно уехать... Мари необходимо отдать в учение... Карлушу в приют... На все это нужны деньги. У нас выпуск... белые платья... подарки... шляпы... Скажем родным, попросим, что не надо ни платьев, ни шляп, ни подарков... Лучше деньги, их мы отдадим Мине Карловне Фюрст, ее сестре, детям... Вот и все, что надо было сказать мне... У вас добрые сердца...

Девочка ловила легкий шепот, поднявшийся в большой зале.

Вот он растет все громче, громче. Слышны отдельные голоса, фразы. Но разобрать трудно.

Вдруг один сильный голос покрыл все остальные, и перед Лидой мелькнуло возбужденное лицо Эльской.

– Слушайте!.. – приставив обе руки рупором ко рту, кричала Сима. – Воронская права. Платья, тряпки, кисейки, ленточки, подарки и прочую чепуху долой... Деньги, положенные нашими родителями на все это, соберем и отправим

фрейлейн Фюрст... Не от нас, конечно, а от татап, что ли, или от неизвестного. Она поедет лечиться на эти деньги, поправится, даст Бог, а мы все снимем камень с совести. Спасибо Воронской, что додумалась до этого... Вороненок, ступай сюда... Дай мне пожать твою благородную лапу... А теперь сядем писать к фрейлейн Фюрст коллективное письмо, так, мол, и так, голубушка, простите, мы глупые, злые девчонки и умоляем простить нас и вернуться на службу и занять покинутое место... Мы выходим, а будущие выпускные научатся на нашем примере понимать, как надо ценить и уважать тружеников-людей... Я, девицы несмышленные, первая поднимаю голос за коллективное письмо... Уррра!..

– Ура!.. Письмо фрейлейн!.. Сейчас, сию минуту! – подхватили девочки.

– Выпускные-то как бесчинствуют!.. – слышав это «ура», пожимали плечами «вторые».

– Уйдут скоро, слава Богу. Много было возни с этим классом, – шипела «кочерга», вертя привычным жестом цепочку от часов.

А выпускные, со смехом кидаясь друг другу в объятия, кричали «ура» и прыгали по стульям.

– Матап идет, тише! – крикнула Рант.

И миг все стихло. Девочки живо оправили на себе пелеринки, рукавчики, волосы, выбившиеся из-под прически.

Дверь широко распахнулась.

Девочки, низко приседая, затагнули дружным хором:

– Nous avons l'honneur de vous saluer...

– Ошалелые!.. Да это не татан, а швейцар Петр!.. – слышался громкий голос Эльской.

Действительно, вместо величавой фигуры начальницы на пороге залы, широко улыбаясь, стояла едва ли не менее величавая фигура Петра.

– Барышня Воронская, в маленькую приемную пожалуйте. Папаша приехал, – произнес все еще широко улыбающийся красный кардинал.

– Папа-солнышко! – взвизгнула Воронская и, сделав дикий прыжок, опрометью кинулась из залы.

Лида летела, как на крыльях. Летела, раздуваясь парусом, ее белая пелерина, летели русые кольца кудрей и белый, с двумя чернильными кляксами передник, который она не успела переменить, вернувшись от фрейлейн Фюрст.

Стрелой промчалась она через весь верхний коридор и пулей влетела в зеленую маленькую приемную.

– Солнышко!.. Мама-Нэлли!.. – ахнула Лида, и стремительно бросилась в раскрытые объятия.

Высокий, красивый брюнет в полковничьем мундире и тоненькая молодая дама, гладко причесанная, с большими серыми глазами, по очереди обнимали свою девочку.

В добрых, мягких глазах военного и сердечной улыбке молодой женщины было видно столько любви!

А девочка, захлебываясь, рассказывала о пережитых днях, об истории с Фюрст, перевернувшей всю ее душу, о

болезни фрейлейн и обо всем, случившемся за время ее разлуки с родными.

– И не надо мне ни платьев, ни подарков, ничего нового к выпуску, – бессвязно закончила свой рассказ девочка. – «Наши» все так решили. Не надо платьев белых и шляп, папочка и мамочка, солнышки вы мои... Не сердитесь, ведь деньги на фрейлейн пойдут. Она так обрадуется, бедная, и оживет... непременно оживет на юге... Ах, солнышко, ах, мамочка, душки вы мои, как все теперь хорошо будет!.. Как хороша теперь жизнь, и как хочется, чтобы всем было радостно и светло, и «нашим», выпускным, и «чужеземкам», «вторым» и «третьим», и «мелюзге», и белокурой Каролине, и Карлуше, и Мине Карловне, особенно ей, и всем, всем...

Она прильнула к груди матери... А та смотрела на свою девочку и шептала ей тихо:

– Конечно, конечно! Мы с папой сделаем все, что просит теперь наша выпускная: и белое платье, и подарок – все обратим в деньги и еще кое что сделаем, о чем и не догадывается милый «стрижок»...

– Что сделаете?.. Мамочка, солнышко, говорите же, милые!..

– Не мучь ее, Нэлли, скажи, голубушка. Видишь, не терпится этому выюну, – произнес отец, любовно поглядывая на свою дочурку.

– Вот что мы придумали с твоим солнышком, душечка моя. У вас в классе есть, наверное, бедные девочки, которым



негде провести лето на даче... Так не пожелают ли они побыть у нас летом? У нас такой чудный, благотворный воздух.... Ты знаешь... И озеро, и лес...

Лида не дала закончить своей названной матери и, взвизгнув от восторга, закружилась по комнате, совершенно позабыв о том, что она выпускная взрослая воспитанница, еще находящаяся в суровых институтских стенах.

– Милые вы мои, золотые мои! – кружилась она, напевая и хлопая в ладоши. – Вот-то придумали чудесно!.. Вот-то хорошо!.. Есть у нас такие. Одна бедная-разбедная, маме ее трудно живется, это Елочка, Лотос, Елецкая то есть. Ужасно таинственная и потешная... А другая – Додошка, любит покушать... смешная такая... круглая сирота, а тетка у нее ужасная ведьма и от Додошки отрешивается...

– Ведьма? фу! – мать покачала головой.

– Мамочка, дуся, золотце мое, не сердись! – восторженно кричала Лида. – Голубушка, родная, правда же Додошкина тетка такая... Мамуля, милая, как же я счастлива, что Додошка и Елочка у нас будут!.. Спасибо!.. Спасибо тебе!..

«Солнышко» смотрел со счастливой улыбкой на эту сцену. Он бесконечно радовался тому, что между любимой женщиной и его дорогой дочуркой были такие добрые отношения.

Вдруг дверь, ведущая из зеленой приемной в коридор, предательски скрипнула.

– Нас кто-то подслушивает, – Лида стремительно броси-

лась к дверям и распахнула их.

На пороге зеленой приемной стояла сконфуженная Додошка. Ее глаза выражали испуг и мольбу.

– Ради Бога!.. Ради Бога!.. Не выдавай меня, Воронская!.. Я хотела только взглянуть на твоего папу...

Лида схватила за руку Даурскую и почти насильно потащила ее в комнату.

– Папа-солнышко, – радостно роняла она, – вот Додошка, которая тебя «обожает», тебя, бабушку и Александра Македонского и никого больше. И пожалуйста, солнышко и мама Нэлли, скажите ей сами о том, что вы придумали сейчас...

Отец Лиды и его молодая жена ласково поглядели на сконфуженную девочку, стоявшую перед ними с таким убитым видом. Потом мачеха Лиды обняла Додошку и поцеловала ее пухлую щечку.

– Вы согласны, не правда ли, крошка, провести это лето с Лидой и с нами?.. – спросила она.

Карие глаза девочки взглянули на милое спокойное лицо Нэлли Воронской, и вдруг, почти никогда не плакавшая, Додошка зарыдала горько и радостно в одно и то же время.

– Спасибо вам... вы первая... так... меня приласкали... а тетя своя... все только сердится... бранит... а вы... вы... Спасибо вам!..

Додошка, всхлипывая, полезла в карман за платком. Из кармана посыпались карамели, леденцы, кусочки сахара и мятные лепешки.

Заметив это, Додошка смутилась еще больше и готовилась уже бежать из зеленой приемной, но отец Лиды понял смущение девочки и поспешил прийти ей на помощь.

– М-ше Додо, какая, я вижу, у вас есть прелесть, – произнес он с доброй улыбкой, – мятные лепешки... Я их ужасно люблю. Вы позволите мне попробовать одну штучку?..

– Ах, пожалуйста, все, все возьмите... Это мои любимые... – оживилась Додошка и, хотя непрошенные слезинки еще дрожали на ее ресницах, девочка уже улыбалась.

А Лида, осененная в это время новой идеей, говорила:

– Я сейчас позову Лотоса... Вы познакомьтесь с нею и скажете ей о приглашении... Да?.. Она хорошая... только немножко спиритка. Но это несерьезно. Вы посидите, дорогие мои, а я сейчас...

«Солнышко» и «мама-Нэлли» смотрели ей вслед любящими глазами и думали о том, что ожидало в будущем этого веселого, взрослого годами и юного душой ребенка...

И Додошка смотрела вслед убежавшей подруге, но она сейчас не думала ни о чем.

Она ела леденцы.

\* \* \*

Еще ярче стала весна. Прихотливо разубралась трава в саду желтыми и белыми цветами. Зачиликала мелкая птаха, зашелкал по вечерам соловей в чаше кустов.

Утомленные за день экзаменами выпускные, после вечернего чая приходили сюда послушать певца, неизвестно как проникнувшего в самый центр каменного города, приходили, чтобы побегать в горелки или просто посидеть под старой липой и на пресловутой плите святой Агнии, перед тем как разлететься в разные стороны.

Прошел экзамен французского. Прорекламировали Сиду, прочли сценку из мольеровских «Жеманниц» и прослушали напутственное слово растроганного старика-учителя. Закончил со своим экзаменом и немецкий преподаватель, и нервная, взвинченная «протоплазма» – физикант – ушел навек со своими элементами, электричеством и телефонами. С грехом пополам отбарабанили педагогическую долбню m-lle Мель, и наступил, наконец, последний, едва ли не самый страшный, экзамен Стурло, с его мучительно трудной хронологией, с его «причинами и следствиями исторических событий».

Снова раскинулись шатры, замелькали на лестницах и в аллеях сада зелено-белые выпускницы с книжками учебника Иловайского подмышкой.

– Нет, не могу больше... Все равно не вызубрить всего. Волей-неволей примусь за шпаргалки, – говорила с отчаянием Рант.

– А я говорю, что бесчестны все ваши надувательские шпаргалки, – горячилась Эльская. – Лида! Вороненок! Что ты скажешь на это?

– А по-моему, шпаргалка – ничего... потому что обманывать Стурло не грех и не подло. Он злой, мучает всех. Помните Козелло? Разве он напирал так на хронологию?.. Нет, Рант права, без шпаргалки никак не обойтись...

Девочки с легкой душой принялись за составление шпаргалок. Это были крошечные самодельные книжечки, прикрепленные на резинке под полотняным рукавчиком у плеча. Свободный конец резинки надевался в виде кольца на палец, и стоило лишь потянуть за этот конец, как резинка натягивалась, и книжечка, исписанная цифрами, высывалась из-под рукавчика. Отвечающая читала, что требовалось для билета, и снова отпускала шпаргалку под рукав.

Додошка и Рант прослыли настоящими профессорами в деле устройства таких шпаргалок и нафабриковали их целую массу. Впрочем, Додошка не ограничилась шпаргалкой; в утро экзамена она поразила своих подруг новым изобретением: почти все ладони и пальцы девочки были испещрены цифрами и первоначальными буквами перечня труднейших для запоминания имен и исторических событий. Девочки, окружив Даурскую, ахали.

– А если руки вспотеют, все и сотрется, – не утерпела заметить Эльская.

– Ну, уж, пожалуйста, не врите. У меня этого быть не может, – возразила Додошка. – Руки вспотеют!.. Фи, какая проза!.. Это вам только в голову, Эльская, может прийти...

– Ах, извини, пожалуйста, – хохотала Сима, – я совсем за-

была, что ты, Додошка, воплощение одной поэзии и соткана вся из лунного света, аромата фиалок и...

– Леденцов... – подхватила Лида Воронская, заливаясь смехом.

– Ха-ха-ха! – подхватили остальные.

– Вам до моих леденцов никакого дела нет! – сердито крикнула Додошка. – Прошу, оставьте меня!..

В день экзамена, назначенного ровно в два часа, девочек, за час до начала, повели в актовую залу.

Здесь были настежь раскрыты окна, и виден был старый вековой сад.

– Боже мой, какая прелесть, как зелено, свежо! – воскликнула Креолка и вскочила на скамью, а оттуда на подоконник. Легкий ветерок заиграл ее черными, как смоль, локонами.

– Зина... Бухарина... Что ты делаешь?.. – округлив умышленно, как бы от ужаса, глаза, подбежала к ней Сима-Волька, – и тебе не страшно?

– А что? – спросила Креолка.

– Прическу тебе ветер растреплет, вот что! – крикнула Сима, запрыгнула на подоконник и взмахнула руками, как крыльями, точно готовясь лететь.

– Глупо, Эльская! – Креолка незаметно взглянула в оконное стекло, как в зеркало, и поправила отделившийся локон.

На соседнем подоконнике, протянув руки к саду, Лида Воронская декламировала только что сочиненное стихотворение:

Я люблю серебристый Эфир  
Лучезарного майского дня,  
Я люблю этот праздничный пир  
Из лучей, из цветов и огня.  
Я люблю этот ропщущий сад,  
Тишину полутемных аллей...  
Смеха, шуток веселый каскад  
И моих ненаглядных друзей...  
Вас, подруги родные мои,  
Мне уже никогда не забыть...

– Воронская, ты шестнадцатого билета не знаешь, пробеги скорее... – услышала поэтесса голос с соседнего окна и быстро соскользнула с подоконника, несмотря на протестующий ропот подруг, требовавших продолжения декламации.

Но шестнадцатый билет так и не суждено было прочитать Лиде. К ней подошла Елецкая, положила на плечо руку и сказала:

– Вороненок, предупреждаю: я твоего папу-солнышко и маму-Нэлли приглашаю на выпускной бал... У меня остаются свободные билеты... Понимаешь?..

– Ах, спасибо, Ольга... Ты очень добра... – обрадовалась Лида, – а я позову тогда на мои билеты Каролину и Марию, племянниц фрейлейн Фюрст... Пусть они повеселятся, бедняжки.

– А Большого Джона? Разве ты не пригласишь Большого

Джона? – удивилась Ольга.

– О, он все равно не придет, Большой Джон, – со вздохом проговорила Лида, – не придет он, Елочка... Он сердится на меня...

И она хотела прибавить еще что-то, но неожиданно прозвучал голос Додошки:

– Медамочки, предупреждаю вас, не удивляйтесь: если я вытяну один из последних билетов, то упаду в обморок... Ясно, как шоколад...

– Экзаменаторы!.. Экзаменаторы!.. – послышался голос m-lle Медниковой, и выпускные поторопились занять свои места.

Мысли Лиды были далеко от экзамена, она знала, как говорится, на ура все билеты, за исключением шестнадцатого. Но и о нем она нимало не заботилась сегодня. Всеми ее помыслами теперь овладел Большой Джон. Через три дня надлежало быть выпускному балу, этому последнему торжеству вылетающих из стен институтской клетки птичек.

На этот бал разрешалось приглашать знакомых, родственников и друзей выпускных, которым полагалось два приглашения билетов.

Лида еще в начале года мечтала о том, как на этом балу, хозяйками которого считались испокон веков сами выпускные, она будет танцевать с Большим Джоном. И вот – все рухнуло разом по ее же милости. Ее друг, ее брат, ее добрый волшебник сердится на Лиду, правда, справедливо, но... ведь



она испустила свою вину... А он и не знает...

– Госпожа Даурская! госпожа Воронская!.. – услышала она голос Стурло и подошла к зеленому столбу брать билет.

Первое, что бросилось ей в глаза, была красная, как ку-мач, рожица Додошки.

– Ничего не знаю... Двадцатый билет... У тебя кото-рый?.. – услышала она ее шепот.

Лида перевернула взятый ею только что со стола кусочек картона и чуть не вскрикнула от ужаса.

На нем была цифра 16.

«Провал!.. Ясно – провал, без всякого сомнения!»

Провал у Стурло Воронская считала для себя позором. Она была одной из лучших учениц у «Рыжебородого Тора», и историк справедливо гордился ею.

Она безнадежно огляделась вокруг. «Перемениться биле-том, но с кем?»..

Додошка, конечно, не знала шестнадцатого, как не знала и двадцатого. Попросить ее?..

Лида, нагнувшись к Даурской, проговорила шепотом, не разжимая рта:

– Хочешь выручить меня? Я не знаю своего билета, а твой знаю...

– Мне все равно, что 20-й, что 16-й... Буду в обморок па-дать... – также не разжимая рта, отвечала Додошка, и, не сго-вариваясь, обе девочки как бы нечаянно уронили свои биле-ты зараз и разом бросились поднимать их на глазах у ничего

не подозревающего начальства.

Теперь у Додошки был 16-й билет, который она, впрочем, успела проглядеть до начала экзамена. Билет был полон хронологических вопросов, поэтому неунывающая Додошка решила прибегнуть к помощи заранее заготовленной шпаргалки.

Пока Ната Верг степенно и аккуратно доказывала причину и следствие Пунических войн, Даурская потянула за резинку приютившейся под полотняным рукавчиком шпаргалки, вытянула ее и погрузилась в заучивание нужных ей цифр, мелким бисером усеявших крошечные страницы.

Но тут произошло нечто, что вовсе не входило в план Додошкиных действий. Пока девочка, углубившись в изучение одной из страничек шпаргалки, готовилась таким образом к ответу, присутствовавшая на экзамене «кочерга» не сводила с нее глаз.

Вот она пошептала о чем-то с инспектором, потом сказала что-то Стурло и вдруг решительно поднялась со своего места и направилась к Даурской.

Она очутилась перед опешившей девочкой так внезапно, что никто не успел даже предупредить Даурскую о грозящей ей опасности.

– Отдайте мне то, что у вас спрятано в рукаве! – услышала Додошка скрипучий голос над своим ухом и обомлела, увидя сердитое лицо «кочерги».

– Уверяю вас, m-lle, что... что у меня... честное слово... –

забормотала несчастная.

– Отдайте мне то, что у вас спрятано в рукаве! – повторила «кочерга».

– Отдай шпаргалку, Додо! Не отвертись ведь от этой ведьмы, – шепнула Воронская.

Но Даурская рассудила иначе. Отдать шпаргалку – значило сознаться в содеянном проступке. А этого более всего боялась Додошка. Она обвела глазами экзаменаторский стол: все на нее смотрели, как ей показалось, инквизиторским взглядом.

«Упади в обморок... Упади... Теперь же... сейчас», – говорила себе Додошка. Она пронзительно взвизгнула и для чего-то подпрыгнув, грохнулась изо всех сил на пол, пре-  
больно стукнувшись головой о паркет.

Это случилось так внезапно, что ошеломило не только начальство и девочек, но и «кочергу».

Ошеломило, но не надолго. В следующую же минуту Ефросьева склонилась над лежащей Додошкой и, нащупав под рукавом девочки злополучную шпаргалку, торжественно извлекла ее оттуда и бросила па стол.

– Гадкий, бесчестный, недостойный поступок! И это сделала выпускная, взрослая воспитанница за неделю до выхода ее из института! – бесновалась она. – Встать!.. Встать сию минуту!.. Приказываю вам встать!..

«Кочерга» дернула мнимо-бесчувственную девочку за руку.

Смущенная до последнего предела, Додошка неловко встала с пола и, не поднимая глаз, очутилась перед столом.

«Все кончено!.. – вихрем пронеслось в ее мыслях. – Все кончено!.. Позор... На всю жизнь позор и мука!.. Стурло... Боже мой, Стурло!.. Что он подумает обо мне?.. Как он должен презирать меня...»

Она закрыла лицо руками и судорожно зарыдала на весь зал.

Ей дали выплакаться, чья-то предупредительная рука протянула ей стакан с водой.

Додошка отпила воды, успокоилась немного и ждала. Ждала, как преступница приговора.

Кто-то обратился к ней мягко и негромко:

– Вы так взволнованны, г-жа Даурская, что вряд ли сможете различить, что написано в билете, а потому я буду задавать вам вопросы, на которые вы мне соблаговолите отвечать.

И Стурло стал задавать вопросы пришедшей в себя Додошке.

Эти вопросы были так просты, что самая слабая ученица могла бы отвечать на них. И Додошка, все еще не поднимая глаз, отвечала правильно и толково.

– Вот и ладно... Вот и ладно... – ободрил ее Стурло, – ясно и просто... А теперь извольте садиться... Вы знаете все, что необходимо знать... – и он кивнул головою решившейся взглянуть на него девочке.



Наконец окончился этот, одинаково тягостный для всех, злополучный экзамен, последний экзамен выпускных!..

Но нерадостно было на душе у девочек. Все видели, как по окончании экзамена мамап отозвала Даурскую и долго отчитывала ее.

Даурская поплелась в класс, чтобы излить свое горе-тоску под крышкой своего тируара (обычное место успокоения институтского девичьего мирка).

Вдруг Стурло остановил ее в коридоре:

– Госпожа Даурская, я не хочу разбирать вашего поступка, вы уже достаточно пострадали за него. И я был далек от заступничества, когда выручил вас моими вопросами. Всякий обман я презираю. И ваш обман мне был более чем неприятен, но я не хотел «резать» вас на экзамене, зная, что вы бедная девушка и будете пробивать себе дорогу своим трудом. Для вас необходим сносный аттестат, а поэтому я был несколько снисходителен, облегчив ваш ответ и поставив за него удовлетворительную отметку. Но, госпожа Даурская, я вправе требовать за это некоторой жертвы, а именно: часть оставшегося вам свободного времени вы теперь употребите на чтение русской и всеобщей истории, хотя бы по два часа в день. Как видите, моя просьба не из сложных. Дайте же мне честное слово, что вы исполните ее.

Додошка подняла заплаканные глаза на учителя, и теплая волна захлестнула измученную душу девочки.

«Просит дать слово, значит, верит, твердо верит в порядочность ее, Додошки... Верит!.. О, милый, добрый, хороший Рыжебородый Тор!»

– О, спасибо вам... за доверие ваше!.. И... и... я не подлая... Честное слово даю вам, что прочту оба учебника и затвержу их от корки до корки.

\* \* \*

Через три дня выпуск... Сегодня выпускной бал...

С этим проснулись свежим майским утром выпускные. И с самого начала дня праздничное настроение уже не покидало девочек. Как-то странно было им чувствовать себя свободными от книжной долбежки.

Экзамены кончились. Кончился трепет постоянного вопроса – «выдержу» или «срежусь».

Погода в день бала, казалось, решила побаловать выпускных. Цветы на лужайках кивали, казалось, им одним, птицы чирикали, как будто только для них, свои веселые, несложные песенки. И сама весна улыбалась и сияла им. К довершению праздничного настроения в это утро начальница объявила девочкам, что фрейлейн Фюрст совсем поправилась и что ей вручена уже собранная ими сумма и что ее вполне хватит для поездки на юг. Матан прибавила, что передала

вместе с тем и убедительную просьбу Мине Карловне вернуться на службу в институт.

– Ваша добрая наставница простила вас всех от души и осенью вернется принять класс малюток... – торжественно заключила свою речь баронесса.

Оглушительное дружное «ура» покрыло ее последние слова.

Девочки обнимались, целовались, поздравляли друг друга. Воцарился какой-то хаотический праздник, длившийся до вечера, до той самой минуты, когда дежурная, m-lle Эллис, поднялась в дортуар и оповестила уже одетых девочек о том, что время спускаться в залу. Похорошевшие, в тоненьких батистовых передниках, с бархатками на шее, с чуть заметно подвитыми кудерками, выпускные вошли в залу. Неожиданно пожарный оркестр грянул туш, и показалась величавая фигура начальницы, окруженная почетными опекунами, инспектором и всем учительским персоналом. За ними следовали все приглашенные, родители, родственники и знакомые институток.

– Солнышко!.. Мама Нэлли!.. – Лида Воронская, позабыв всякий этикет и дисциплину, бросилась в толпу гостей, в которой мелькнули знакомые, дорогие лица.

– Солнышко!.. Мамочка!.. – повторяла девочка и, сама не замечая того, прыгала на месте по давнишней детской привычке.

– Грицко мой!.. Грицко!.. – слышался новый возглас, и

хохлушка Мара стремительно бросилась навстречу молодому человеку во фраке.

От него веяло силой и весельем. И странно было видеть его лицо, круглое, румяное, дышащее степным загаром и украинскою мощью, среди усталых, анемичных и бледных лиц петербуржцев.

Маруся себя не помнила от восторга. Она послала пригласительный билет на этот бал своему Грицку, туда, в вольную родную Украину, в чудесный маленький хутор, далекая от мысли, что он приедет, послала на память жениху о выпускном бале его невесты.

А он вдруг приехал.

Не веря своему счастью, крепко сжимая руку своего нареченного, Мара вся сияла, как ясное солнечное утро.

Длинный, утомительно скучный полонез сменился чарующими звуками вальса.

И понеслись задумчивые звуки в раскрытые окна залы, и запели чарующей мелодией в большом институтском саду.

Хохлушка Мара открыла бал со своим Грицком. Приятно было смотреть на эту юную счастливую пару. Обычно некрасивая, с чересчур крупными, неправильными чертами лица, Мара разрумьянилась, как вишня, и со своими темными сияющими глазами теперь казалась красавицей.

Креолка танцевала с каким-то юнкером. Додошке и Малявке попались, как нарочно, чересчур высокие кавалеры, и они презабавно выписывали в воздухе все те па, которые по-



лагается проделывать на паркете.

С высоким стройным кавалеристом танцевала Лида Воронская. Этот юноша был Добровский, ее хороший знакомый, прекрасный танцор, всеми силами желавший заинтересовать разговором свою юную даму. Но юная дама в мыслях была далеко и от юнкера, и от светского разговора. Она вертела головкою вправо и влево, отыскивая по зале «папу-солнышко» и «маму Нэлли», сидевших подле начальницы в кругу приглашенных гостей. И отыскав их, она начинала весело кивать головой и улыбаться. А ее глаза без слов говорили:

«Ах, как хорошо!.. Как хороша жизнь!.. Молодость!.. Этот бал!.. Но вы... вы лучше всех, мои дорогие!»

Кончился вальс. Исполненная неги, последняя нота его умерла в тиши весеннего вечера, и голос дирижера Добровского звучно огласил залу:

– Engages vos dames pour la premiere contredanse!..

И тотчас же тихо и вкрадчиво добавил, обернувшись к Лиде:

– Не правда ли, вы окажете мне честь?...

И Лида встала в первую пару со своим кавалером.

В дверях залы появился Зинзерин. К нему подлетела Сима Эльская.

– Вы должны танцевать со мной, Николай Васильевич! Я на вашем экзамене двенадцать с плюсом получила.

Смешно переваливаясь на высоких, как ходули, ногах, Аполлон Бельведерский повел свою даму.

Креолке захотелось последовать примеру Вольки, и, на-  
скоро оправив свои кудерки, она очутилась перед Чудицким.

– Владимир Михайлович, пожалуйста!..

Словесник с поклоном подал руку заалевшей от радости  
девушке.

– Счастливица!.. С самим Чудицким танцует!.. Счастли-  
вица Зина!.. – зашептали с завистью вокруг нее.

– Mesdames, mesdames, смотрите, «протоплазма» в пляс  
пустилась!.. С Малявкой танцует!.. Вот так пара!.. – смея-  
лись девочки, следя глазами за маленьким физикантом, доб-  
росовестно отплясывающим кадрили с Пантаровой-второй.

– Вы счастливы, не правда ли, вы счастливы сегодня, m-  
lle Lydie? – спрашивал Добровский, покручивая свои малень-  
кие усики. – Вы теперь вполне взрослая барышня!

– Ах, да! – искренне сказала девочка. – И «солнышко»  
здесь... Подумайте, и мама!..

Ее лицо вдруг подернулось облаком грусти. В воображе-  
нии промелькнул знакомый образ.

– Жаль только, что нет Большого Джона, – со вздохом за-  
ключила она.

Ее кавалер, однако, уже ее не слушал.

– Grand rond, s'il vous plait!.. – неистово выкрикивал он.

– Лида, Вороненок, тебя спрашивают, – услышала Лида  
позади себя.

Перед Воронской стояла Додошка.

– Тебя спрашивают две девочки, они... в коридоре...

У Додошки рот был по обыкновению, набит чем-то сладким, и в руке она держала апельсин, но в лице девочки было что-то лукавое и таинственное.

– Ступай, Лида, ступай скорее...

Сердце Лиды екнуло.

«Вероятно, Каролина и Мари, – решила она. – Но почему же у меня так бьется сердце?..»

И наскоро бросив своему кавалеру: «Pardon, monsieur», она бесцеремонно вырвала у него руку и бросилась в коридор.

Действительно, там на скамейке сидели Каролина и ее сестренка Мари, одетые в изящные шерстяные платья, а между ними...

– Дитя мое!.. Ко мне скорее! Я знаю и все простила!.. И тебе, и другим!.. Все простила!.. – услышала Воронская. – Дитя ты мое!.. Дитя ты мое!.. – повторяла Фюрст и прижимала к себе стриженую головку Лиды.

– Не плачьте, маленькая русалочка... Все прощено и забыто.

Тут Лида увидела высокого молодого человека, не успевшего еще сбросить плащ.

– Большой Джон!.. Милый Большой Джон!.. Мой брат!.. Мой хороший!..

Большой Джон, как ни в чем не бывало, сбросил с себя плащ, кинул его беззаботно в угол, поглядывал на Лиду своими насмешливыми, ласковыми глазами и добродушно по-

смеивался себе под нос.

– Что, не ожидали видеть меня здесь? – спрашивал он.

– Да, как вы сюда попали, Большой Джон, голубчик? – обрадовалась Лида.

– Меня привел сюда некий обитатель Парнаса, Аполлон Бельведерский, – прогудел Большой Джон басом, строя одну из своих удивительных гримас.

– То есть Зинзерин? – засмеялась Лида.

– Вы хорошая отгадчица, маленькая русалочка... А теперь ведите нас в залу... Я хочу танцевать с вами котильон, за которым мы вдоволь наговоримся. Но прежде мы поместим в укромное местечко фрейлейн Фюрст и найдем хороших кавалеров для сих юных барышень.

Снова радость овладела Лидой.

Все последующее время пронеслось для нее, как в сказке, как в волшебном полусне, как в дивной грезе.

Она танцевала со своим старым другом, поверяла ему все то, что пережила в последнее время. Говорила, как больно отозвалась на ней их ссора, как мучительно переживала она болезнь фрейлейн Фюрст.

Кончился бесконечный котильон, после которого выпускные окружили Мину Карловну, торопясь выразить ей свое сочувствие.

Растроганная фрейлейн Фюрст была на седьмом небе. После тяжелой болезни она не могла, однако, оставаться на балу до поздней ночи и, обещав девочкам присутствовать на

их выпускном акте, уехала домой в сопровождении Лины и Мари, счастливая как никогда. Уехали за нею и «солнышко» с «мамой Нэлли», подтвердив еще раз свое приглашение Елецкой и Додошке провести у них лето.

Но бал не прекращался. Большой Джон, заменивший Добровского в качестве дирижера, придумал славную штучку: попросив разрешения тапан, он повел танцующие пары в сад, мазуркой. Стройно заливался оркестр. Пары спорхнули по длинным лестницам, очутились в саду и с веселыми шутками под бряцание шпор и шелест платьев помчались по широкой аллее...

И вдруг звонкая трель прорезала гармонию ночи...

– Соловей!.. – И длинная фаланга танцующих остановилась как вкопанная.

А соловей все пел да пел... Он пел, как ручей в лесу, как тихое озеро в бурю, как стрекот кузнечиков в летнюю ночь, как голос юных легкокрылых эльфов, как поэты старинных рыцарских времен.

– Как хорошо!.. Как хорошо мне, мой Грицю!.. – прошептала Мара, сжимая руку своего жениха. – Будто дома мы, будто на хуторе в вишневом садике поет наш соловей.

– Скоро и мы будем там, серденько мое, – с необычайной лаской в голосе отвечал Грицко своей невесте.

А другая пара впереди, тоже зачарованная роскошной соловьиной песнью, смотрела в лицо друг другу и тихо смеялась.

– Вы ни чуточки не сердитесь на меня теперь, Большой Джон?.. – спрашивала Лида своего кавалера.

– Я был бы большим колпаком с ослиными ушами, маленькая русалочка, если бы посмел еще теперь сердиться на вас, – отвечал Большой Джон.

Соловей стих. Музыканты приблизились к окнам залы, и звуки оркестра наполнили сад.

– Вперед! – крикнул Большой Джон. – Вперед – не танцующие пары, а вы все, славные, юные существа, собирающиеся выпорхнуть из этого старого гнезда! Смело и бодро вперед в незнакомую жизнь на помощь близким, на утеху несчастным, и да покажется вам жизнь прекрасной, как эта белая ночь, как соловьиная песнь, как музыка, чарующая нас в эти минуты!..

– Ура! Большой Джон, ура! Дай Бог, чтобы слова ваши сбылись, добрый волшебник! – крикнула Лида, и все пары подхватили это «ура».

А белая ночь, казалось, знала то, чего не знали юные девушки, готовившиеся выпорхнуть из старого, насиженного гнезда...

Но белая ночь молчала, и будущее казалось девушкам такую же чарующей, как эта белая ночь, загадкой.